

Сказки старого Вильнюса VI

Автор:

Макс Фрай

Сказки старого Вильнюса VI

Макс Фрай

Сказки старого Вильнюса #6

Следует признать, что точного числа улиц в Старом Городе Вильнюса не знает никто. Даже на гениев места больше никакой надежды – то говорили, сто восемь, потом исправились: ой, нет, извините, сто тридцать одна! А пока мы совершали обход новых незнакомых кварталов и записывали истории, вошедшие в шестой том сказок, улицы пересчитали заново, и их оказалось сто сорок шесть. Значит, вместо задуманных пяти томов у нас будет целых семь. Что, с одной, стороны, хорошая новость. А с другой – анархия и бардак, мы будем жаловаться.

В остальном же у нас в городе жизнь течет спокойно и размеренно: полицейские совершают регулярные рейды по отлову особо злобных демонов, городские духи пекут печенье, а простые виленские обыватели пьют вишневое пиво, задушевно беседуют с бездной, видят сны и побеждают смерть – все как всегда.

Макс Фрай

Сказки старого Вильнюса – VI

© Макс Фрай, текст

© Рената Магзумова, иллюстрации

Улица Агуону

(Aguonu g.)

Белый ключ

Правильно заваривать чай его учил Зденек в те смешные времена, когда на паях с приятелем открыл чайный клуб (прикинь, какой прикол: почти сто сортов чая и больше ничего, ни вина, ни сэндвичей, ни печенья какого-нибудь, ни даже кофе, только чай, а народ все равно ходит, мест свободных нет).

Без практики знания быстро вылетели из головы, остались только бессмысленно красивые формулировки: «жемчужные нити», «рыбьи глаза», «шум ветра в соснах», «белый ключ». Все это разные стадии кипения воды; лучше всех запомнил «белый ключ». Во-первых, его легко определить, это когда закипающая вода становится мутно-белой, а во-вторых, именно в этот момент и следует заваривать чай; кофе, кстати, тоже – если используешь френч-пресс. Очень важно успеть, пару секунд спустя уже будет поздно. Китайцы называют крутой кипяток «мертвой водой», вроде бы в ней остается слишком мало кислорода или что-то вроде того.

Выражение «мертвая вода» его впечатлило, всегда был излишне чувствителен к словам. С тех пор всегда покупал прозрачные чайники и кипятил воду только в них. Стоял у плиты, заворожено смотрел, как со дна поднимаются мелкие пузырьки, постепенно складываются в тонкие нити, а потом их становится так много, что вода белеет, словно в нее добавили молоко, вот в этот момент и пора убирать чайник с огня.

Сам Зденек быстро утратил интерес к чайным церемониям, демонстративно заливал бумажные пакетики «Липтона» крутым кипятком, щедро сыпал сахар, резал лимон, ржал: «Я – чайный гранж-мастер». А он так на всю жизнь и остался

верным последователем «белого ключа».

За Зденеком вообще было не угнаться, он всегда был скор на расправу со своей жизнью, менял одну на другую, не задумываясь, не торгуясь, не искал ни выгоды, ни даже какого-то особого смысла, только возможности в любой момент все разрушить и начать заново. Что Зденек действительно отлично умел, так это красиво начинать.

Очень этой его лихости завидовал. И вообще всему Зденеку, целиком. Впрочем, «завидовал» не совсем верно сказано. Просто хотел быть таким же, а родился совсем другим – собой. Говорят, выше головы не прыгнешь; глупости, выше – как раз запросто. Что действительно невозможно так это выйти из собственных берегов, а глядя на Зденека, хотелось именно этого. Зденек был – океан.

...Впервые увидел Зденека в детстве, на пляже и запомнил на всю жизнь.

Никогда не спрашивал, бывал ли Зденек в том курортном городе, куда его каждое лето возили отдыхать, и без расспросов не сомневался: там, у моря был именно он. Прыгал в воду с высокого пирса и так при этом лихо кувыркался, словно в цирке выступал. Думал тогда, этот дочерна загорелый белобрысый мальчишка гораздо старше; оказалось, ровесник, просто такой вот длинный. Зденек на всю жизнь так и остался выше, почти на целых полголовы, и это тоже было обидно – вот же засранец, и тут обскакал.

А в тот день смотрел на него, открыв рот. Сам прыгать с пирса не стал, понимая, что на фоне белобрысого акробата будет выглядеть неуклюжим мешком. Потом до отъезда тренировался, чтобы тоже так научиться. В конце концов, более-менее получилось, однако особой радости не принесло. Во-первых, где теперь тот белобрысый мальчишка, поди его отыщи. А во-вторых, даже если объявится, ясно, что не станет сидеть в стороне и восхищаться его кувирками.

А на меньшее был не согласен.

Вспомнил об этом несколько лет спустя, когда Зденек пришел в их класс – посреди учебного года, видимо, семья внезапно переехала; Впрочем, какая

разница, главное, что в классе появился новенький, длинный, белобрысый и такой загорелый, словно на улице стояло лето, а не дождливый ноябрь.

Сразу его узнал и понял, что это шанс. Незаметно открыл окно, вышел из кабинета, обогнул здание школы, каким-то чудом, цепляясь за карнизы, вскарабкался на подоконник третьего этажа. Ему тогда здорово повезло, что не свалился, потому что проделывал этот трюк в первый раз.

Ввалился в класс через окно, сразу после звонка, как ни в чем не бывало, поздоровался с математичкой, вежливо извинился за опоздание и сел на свое место; нечего и говорить, что это был настоящий триумф. Его, конечно, таскали к директору и родителей вызывали, мать перепугалась до смерти, дома был страшный скандал, но все это не имело никакого значения, потому что Зденек смотрел на него примерно так, как он сам когда-то на пляже, с плохо скрываемым восхищением – во дает!

На третий день знакомства они подрались; теперь уже не вспомнить, по какому поводу и был ли он вообще. Драку, можно сказать, свели вничью: Зденек был сильнее, а в нем оказалось больше злости, о которой до того дня даже не подозревал. Потом, конечно, подружились, как это нередко случается после подобных драк, которые на самом деле не столько выход агрессии, сколько исследование: кто ты? И кто я, когда я рядом с тобой?

Это была странная дружба; впрочем, наверное, любая дружба странная, когда смотришь на нее не со стороны, а будучи одним из действующих лиц. Откуда вдруг возникает прочная связь между двумя чужими людьми? Чем скрепляется, пока длится, почему так радуется и дает столько сил? Как вообще все это работает? Черт его разберет.

Потом, много позже, став взрослым, почти пожилым человеком, говорил, что дружба – это неосознанная, но очень храбрая попытка установить личные отношения с, условно говоря, богом, используя другого человека в качестве средства связи. Всегда провальная, никогда не напрасная.

Впрочем, вряд ли важно, что он там говорил. Слова – это только слова, даже если удачно подобраны. Правда настолько больше слов, что в человека не помещается. Человек – мелкое озерцо, в лучшем случае, море. Правда – всегда

океан.

Ладно, это была странная дружба, а как еще сказать. Даже не то чтобы постоянное соревнование, скорее выступление, нескончаемые танцы на глазах друг у друга. Оба в результате стяжали сладкую славу неуправляемых хулиганов, при этом школу он закончил с отличным аттестатом, хотя прежде имел твердую репутацию «способного, но ленивого» троечника, как, наверное, все нормальные дети, которых никто ничем толком не сумел заинтересовать. Но мычать и блеять у школьной доски на глазах у Зденека, обладавшего феноменально цепкой памятью, было бы невыносимо, поэтому приходилось зубрить все, включая ненавистные языки, которые этому гаду давались с полпинка, как бы сами собой. Дозубрился до того, что несколько раз решал за друга особо сложные задачи по физике. Засчитал себе как победу; что думал по этому поводу Зденек, так никогда и не узнал.

Это продолжилось в университете. На вступительных экзаменах сами толком не понимали, чего хотят больше: учиться вместе или все-таки утереть другому нос, оставив его за бортом. В любом случае, поступили оба, причем как-то на удивление легко, особенно если вспомнить, сколько дешевого белого вина выпили в ходе подготовки к экзаменам, демонстрируя друг другу гигантские размеры болтов, якобы забитых на учебу. На самом деле оба, конечно, зубрили, как проклятые – в лютом похмелье, врозь, по утрам.

Их преподавателям и сокурсникам, можно сказать, повезло; по крайней мере, скучно не было. Хотя, вспоминая их со Зденеком выходки, шутки и перепалки, догадывался, что с точки зрения окружающих все это было немного чересчур утомительно. Да и для него самого, даже тогда – перебор. Но куда деваться, если где-то рядом вечно болтается Зденек, и его надо как минимум приводить в изумление. В идеале – восхищать.

Долгое время был уверен, что Зденек совсем не старается его поразить. Думал, он сам по себе такой – парадоксальный, блестящий, феерический. Кумир девушек в возрасте от четырех до восьмидесяти и некоторых особо злобных профессоров. Но однажды Анна, та самая, которую они несколько раз азартно отбивали друг у друга, к сожалению – где были наши глаза?! – вовсе не ради ее самой, сказала что-то вроде: «Без тебя Зденек совершенно нормальный, а при тебе вечно начинает выпендриваться так, что тошно становится». Сделал вид, будто не обратил на ее слова никакого внимания, но на самом деле, конечно,

ликовал. Надо же, оказывается, Зденек тоже прикладывает усилия, чтобы меня удивить! Засчитал этот факт как победу вместе с теми школьными задачками по физике. Хотя в глубине души догадывался, что существование этого списка побед само по себе сокрушительное поражение. Нокаут, не по очкам.

Очень много в те годы путешествовали, в основном, автостопом – у студентов, даже подрабатывающих всеми доступными способами, редко есть деньги на билеты. Иногда ездили компанией, но чаще отправлялись вдвоем, и это наверное самое лучшее, что с ним было, не только во времена их со Зденеком дружбы, а вообще за всю жизнь. Мир оказался безгранично велик, местами обескураживающе красив и так интересен, что можно было временно оставить друг друга в покое. У гор, морей и звездного неба все равно лучше получается изумлять человека, как ни старайся, их не превзойдешь, и это совсем не обидно. Ну, почти не.

Тогда, собственно, и познакомились по-настоящему, уже совсем всерьез. Путешествия дают ответы примерно на те же вопросы, что и школьные драки: кто ты? И кто я, когда я рядом с тобой? – только гораздо более развернутые и подробные.

Интересные ответы, надо сказать.

Когда буквально через месяц после защиты диплома родители погибли в аварии, оставив его с четырнадцатилетней сестрой Лаурой на руинах раз и навсегда рухнувшего мира, сразу позвонил Зденеку. Честно сказал: если можешь, будь рядом, я при тебе сразу начну притворяться великим героем, глядишь, выдержу, не сорвусь. Так и вышло, при Зденеке он отлично держался, и сестренка, глядя на них, более-менее успокоилась – насколько это вообще было возможно. Положа руку на сердце, Зденек их тогда спас – самым фактом своего существования, не допуская возможности лечь и сдаться, пойти вразнос.

На поминках они не пили – рано было расслабляться. Оставались трезвыми весь вечер и еще три дня, пока не отвезли Лауру в Ригу, к родственникам, которые организовали ей плотную программу с поездками и развлечениями до конца лета. А вернувшись домой, наконец-то надрались как следует, вдвоем, в просторной квартире на улице Агуону, которая, несмотря на оставшуюся от

родителей мебель, казалась совершенно пустой.

Вот тогда, на исходе второй бутылки, Зденек горячо зашептал, склонившись к самому уху: «Ты не думай, что их совсем нигде больше нет. Там, после смерти, до фиги всего интересного, в сто раз больше, чем здесь».

Господи, да ему-то откуда знать?

Тараторил с такой скоростью, словно боялся, что с неба вот-вот спустится ангел в милицейской форме и потащит его в райскую кутузку за разглашение секретных сведений, не дав договорить: «Когда мне было восемь лет, я утонул – совсем, представляешь? Мы тогда жили у моря, я часто удирал купаться с мальчишками из двора, плавать еще толком не научился, а в тот день были сильные волны, и одна... Ай, неважно, в общем, я утонул и умер, и за мной пришли такие отличные сияющие чуваки... или, кстати, чувихи, не знаю, вот уж на что мне тогда было плевать. Они мне очень понравились, обещали отличные приключения, я даже обрадовался, что можно с ними пойти, но тут вспомнил, что нам послезавтра должны оставить дядину собаку на две недели, я с начала лета этого ждал, а вечером по телевизору будет новая серия мультфильма про Черного Плаща, и так стало обидно все это пропустить, что я отпросился. Ну что ты ржешь, действительно отпросился, ты меня знаешь, я если очень надо, кого угодно могу уговорить, а у моих сияющих чуваков оказался покладистый характер, они согласились, что собака – это ужасно важно, и мультфильм интересный, а у них телевизоров нет, сказали – ладно, гуляй еще тридцать лет, потом приходи».

Пьян был к тому моменту до изумления. И все еще раздавлен гибелью родителей. Наверное, поэтому так легко поверил в Зденеков гон о сияющих чуваках и прекрасной загробной жизни, которая понравится маме и папе – чего еще можно было желать. И что рыдал в три ручья у него на груди от горя и облегчения, тоже, в общем, понятно. И теоретически простительно. Но простить себя конечно не смог. И Зденека за компанию – что оказался одновременно причиной и свидетелем его слабости. Хотя Зденек никогда, ни при каких обстоятельствах об этом не вспоминал.

Не то чтобы они после этого разговора перестали дружить, но виделись гораздо реже. По объективным причинам, – говорил он себе. Ему тогда пришлось много

работать, Лауркина пенсия по утрате кормильцев курам на смех, а почти взрослую девицу надо не только кормить, но и наряжать, и возить на каникулы, и водить к репетиторам, и за все это как-то платить. И дома ее надолго одну не оставишь, и бухать с собой не потащишь, и к себе никого особо не приведешь, сестра-подросток в этом смысле гораздо хуже самых строгих родителей: при ней противным взрослым хмырем, который знает, как лучше и все запрещает, поневоле становишься ты сам. Удивительное превращение, вот уж от себя не ожидал.

Но в глубине души понимал: дело не в сестре и не в двух с половиной работах, ему просто стало тяжело видеть Зденека. И непонятно, как себя с ним вести. После всего, что было, вряд ли получится притворяться веселым, бесшабашным, бесстрашным и легким на подъем. А быть другим при Зденеке не хотел.

Потом жизнь завертела их окончательно и почти развела. Наступили совсем иные времена, трудные, но и полные удивительных новых возможностей. Он внезапно обнаружил в себе способность зарабатывать настоящие деньги и быстро вошел во вкус, а Зденек тогда как раз вовсю начал экспериментировать с переменами участи – менял работы чаще, чем женщин, которые у него тоже не слишком задерживались, вечно куда-то уезжал, потом возвращался, звонил, всегда неожиданно, натурально падал на голову, пропахший другими жизнями и веселыми чужими ветрами, неизменно приносил какую-то экзотическую выпивку, травил завиральные байки о своих похождениях, был ему по-прежнему очень дорог, но и безмерно раздражал.

На фоне Зденека сразу начинал снова чувствовать себя тем самым противным взрослым хмырем, в которого когда-то превратился ради сестры; сам понимал, что это не так, у него все отлично, и Зденек восхищенно качал головой, расспрашивая о бизнесе – ну ты даешь, я бы не смог! – но сердцу хотелось совсем другого. Хрен знает чего.

В один из своих приездов Зденек и ввязался в затею с чайным клубом; он не особо верил в успех будущего предприятия, но под руку не каркал, даже помог им с партнером найти подходящий подвал в самом центре, на отличных условиях, в смысле настолько дешево, что сам не ожидал. За помощь получил звание почетного гостя номер один, читай – гарантированное место в любое

время; эта привилегия очень пригодилась потом, когда вопреки его пессимистическим прогнозам, в клубе начался постоянный аншлаг.

В те дни они со Зденеком снова стали видеться часто, как прежде, ходил к ним почти каждый вечер, очень любил это смешное, пропахшее благовониями место, и ритуал приготовления чая на огне – тихий, неторопливый, но не лишенный некоторого утонченного пижонства – тоже любил. Завороженно смотрел, как со дна прозрачного чайника поднимаются первые пузырьки, как сплетаются в тонкие нити, как постепенно белеет и мутится вода. Белый ключ! – победоносно восклицал Зденек и брался за дело, принимался заваривать чай.

Это было очень красиво. К тому же, чай, особенно улун, который почему-то называли не «зеленым», а «бирюзовым» – с какой стати? где там та бирюза? – всегда оказывал на него удивительное воздействие, иногда расслабляющее, иногда, наоборот, бодрящее, чайные мастера говорили, это зависит от множества факторов – сорта чая, времени его сбора, даже текущей фазы луны – но чувствовать себя взрослым хмырем он в любом случае переставал. Всего на пару часов, но и это огромное облегчение, на которое не рассчитывал никогда.

И Зденеку он в эти вечера совсем не завидовал, хотя, по идее, было чему – в полумраке чайного клуба, в китайском шелковом кафтане, склонившийся над подносом с драгоценной посудой, его старый друг и вечный соперник, выглядел легкомысленным юным богом, решившим смеху ради провести каникулы среди людей.

Но потом Зденеку все надоело. Сперва он перестал заваривать чай и занялся закупками, мотался в Китай, приезжал оттуда довольный собой и жизнью, но еще через год заехал по дороге в Индию, решил открыть там хостел на берегу океана и окончательно пропал из виду. Ну как – окончательно. На пару лет пропал.

Чайный клуб никуда не делся, им занимался Зденеков приятель. Хуже там, объективно говоря, не стало, и бирюзовый чай по-прежнему оказывал на организм целительное воздействие, но он все равно постепенно перестал туда ходить. Без Зденека никакого смысла – вообще ни в чем.

Но все равно как-то жил. Впрочем, почему «как-то»? Очень даже неплохо. Жизнь и без смысла, сама по себе вполне хороша.

Спасаясь от очередного острого приступа отвращения к собственной взрослости, купил мотоцикл, и это было такое прекрасное решение, что долго потом изумлялся, почему не завел его раньше. Мотоцикл оказался таким же хорошим другом, как Зденек. Ну, почти таким же, поговорить с ним все-таки не получалось. Зато он совершенно не раздражал. Не подавлял своим великолепием – все-таки не человек, а машина, просто хорошая вещь. А внимания и напряжения сил требовал, пожалуй, не меньше, чем их студенческая дружба. И радости приносил не меньше. Каждая поездка была немного похожа на их со Зденеком путешествия, только гораздо короче. Но два часа счастья настолько больше, чем ничего, что грех роптать.

Зденек тогда как раз снова вернулся, покончив со своей чуть было не удавшейся индийской жизнью. И конечно, сразу оценил мотоцикл. Смотрел с таким же восторгом, как в тот день, когда он вошел в класс через окно. Попросил разрешения прокатиться и, похоже, всерьез боялся услышать отказ. А через неделю купил себе такой же. Честно признался, что спустил на него почти все деньги, которые успел заработать, и ни о чем не жалеет, кроме того, что не сделал это давным-давно.

Когда узнал, что Зденек погиб, разбившись на своем новеньком мотоцикле, совершенно не удивился, как будто именно такого финала и ждал. Невольно прикинул: в конце зимы Зденеку исполнилось тридцать восемь, так что все сходится, на сколько отпустили, столько и погулял. Но легче от этого, конечно, не стало, какое там «легче». Чувствовал себя так, словно умер сам.

Но конечно не умер. С чего бы. Только мотоцикл продал, быстро, первому попавшемуся покупателю, здорово продешевив. Плевать, все равно он был нужен, чтобы удивить Зденека, а потом время от времени его обгонять. А теперь зачем.

На похороны не ходил, для него это было как-то слишком. Вместо этого пошел в чайный клуб, где все тоже были изрядно пришиблены новостью, в глазах один и тот же немой вопрос: как же мы теперь без Зденека? Хотя уже давно отлично

справлялись без него.

Попросил разрешения самому заварить чай. Ему без вопросов сразу выдали чайник, газовую горелку, специальный поднос и все остальное, что требовалось. Сидел в дальнем, самом темном углу, скрестив ноги, на подушках, смотрел, как со дна поднимаются пузырьки. Дождался, пока вода станет мутно-молочной, снял чайник с огня, прежде чем понял, что делает, выплеснул воду на пол, словно собирался заварить вместо чая весь окружающий мир.

Пол, кстати, остался совершенно сухим. Никто не понял, как это произошло, но особо не удивились. Когда поминаешь человека вроде Зденека, всякое может случиться. Не о чем тут говорить.

Дальше было уже неинтересно. То есть много разного, но по сути – ничего. Как-то жил, что-то делал, зарабатывал деньги, возился с племянниками, иногда путешествовал – без особого удовольствия, самому себе, утратившему интерес к поездкам, назло. Через пару лет после смерти Зденека женился, с каким-то нелепым чувством, что теперь-то, чего уж, все можно. Как будто раньше кто-то запрещал. Брак, как ни странно, оказался довольно удачным – насколько что-то вообще могло быть удачным для него. По крайней мере, стало гораздо проще объяснять себе, почему до сих пор жив и кому это надо – как же, кому, а вот, к примеру, жене и сыну. Какой с меня спрос.

Иногда вспоминая Зденека, думал: получается, я все-таки выиграл – его нет, я живу. Но в глубине души знал, что на самом деле проиграл – каким-то образом сразу все.

Жил долго, вырастил сына, который всегда казался ему совершенно чужим человеком; ладить это им, впрочем, не мешало, даже наоборот. Дождался внуков, похоронил жену, чрезвычайно выгодно избавился от бизнеса, объявив, что хочет отдохнуть, от безделья предсказуемо захворал, болезни особо не сопротивлялся, наоборот, с облегчением думал, что скоро можно будет перестать притворяться живым.

Очень от этого спектакля устал.

Впервые по-настоящему испугался уже в больнице, после операции, которая прошла неудачно, было ясно, что счет пошел скорее на часы, чем на дни. Вот тогда действительно стало страшно; впрочем, на собственный страх смотрел словно бы со стороны, отстраненно, думал: наверное, так со всеми бывает, обычное дело, инстинкт самосохранения, из-за него тело боится умирать, даже если не хочет жить. Все-таки Зденек везучий, умер неожиданно, как говорили врачи, мгновенно, еще молодым и очень счастливым, с кучей дурацких планов, дал мне подсказку, как хорошо уходить, а я не прислушался. Такой был дурак. А теперь одно утешение – настолько ослаб, что орать и визжать от ужаса не смогу при всем желании; и на том спасибо, хоть остатки достоинства сохраню.

Открыв глаза, увидел, что у изголовья постели кто-то сидит на стуле, подумал: наверное, медсестра, в больницах положено, чтобы при умирающем кто-то дежурил. Вернее, медбрат, вон какой длинный; ай, да какая разница, кто пришел тебя провожать.

Впрочем, разница все-таки есть.

– Видишь, я снова смог договориться, – сказал ему Зденек, такой молодой и красивый, что снова ощутил давно забытую зависть: я тоже хочу быть таким, а не этим бессмысленным искромсанным хирургическими ножами, накачанным морфием мягким кожаным бурдюком, почти пустым, только жалкий, подкисший остаток жизни на самом дне.

– Всегда знал, что ты доживешь до старости, – говорил Зденек. – А старикам трудно умирать, если только не выжили вовремя из ума. Но дураку понятно, что эта лазейка не для тебя. Поэтому заранее договорился, чтобы мне разрешили тебя подождать; я кого хочешь уболтаю, ты знаешь. Прикинул: увидишь меня, начнешь по привычке выпендриваться, забудешь о страхе, красиво уйдешь.

Глазам своим, конечно, не верил. Ушам – тем более. Предсмертные галлюцинации – обычное дело, в свое время много об этом читал. Но какая разница, пришел к нему Зденек или просто примерещился. Главное – он здесь.

– Там действительно до хрена всего интересного, – говорил тем временем Зденек, – я тебе той ночью – помнишь? – не врал. Пока ждал тебя, не сидел на месте, кое-что разведаль, не то чтобы много, но есть с чего начать. Может,

пойдем прямо сейчас? Зачем тебе эта дурацкая агония? Ты упрямый, я тебя знаю, не захочешь сразу сдаваться, а никакого особого смысла в этих мучениях нет.

Молча кивнул, и тогда Зденек протянул ему руку, помог подняться; это оказалось неожиданно легко. А потом они вместе – сидя? стоя? паря под потолком? хрена лысого разберешь, когда такое творится – смотрели, как дрожит, пузырится, сияет и кружится все еще зримый мир, как постепенно светлеет и загустевает ночное небо над городом, словно в него добавили молоко.

Площадь Винцо Кудиркос

(Vincó Kudirkos a.)

Кадровая политика

Надя, с которой когда-то вместе учились на курсах немецкого, говорила: «Если хочешь, чтобы на тебя не обращали внимания, одевайся поярче. А еще лучше – покрась волосы в какой-нибудь дикий цвет. Зря смеешься, я не шучу. Люди увидят только синие волосы, розовое пальто, желтые башмаки, а тебя – нет».

Удивительно, но Надя оказалась права.

Шона уже несколько раз меняла цвет волос, начала с оранжевого, это почти просто рыжий, почти естественный, на такое легко решиться. Почти год спустя оранжевый сменился темно-красным, а потом младший брат привез из Берлина безумный радужный парик, снятый в порыве удали с уличного манекена, подарил, торжественно объявив: «Я спер его ради тебя!» – вранье, конечно, ясно, что просто выпендривался перед приятелями, но пришлось восхититься, надеть и идти в таком виде из родительской квартиры домой через весь Старый город, среди бела дня, с тех пор Шоне все нипочем.

Это, правда, совершенно удивительно работает. Все взгляды на улице достаются прическе, а самой Шоны – ее высокого лба, слишком мягкого подбородка, чуть раскосых глаз, аккуратного носа, плотного телосложения, возраста, предполагаемого социального статуса, выражения лица – для людей как бы не существует, только абстрактная обладательница волос нестандартного цвета, причем одна из многих, сейчас куча народу красится во что ни попадя, целая армия ярких, броских людей-невидимок, в этом смысле – отличные времена.

И солнцезащитные очки с темными стеклами стало можно носить круглый год, это даже какой-то особой эксцентричностью не считается. Тем лучше для Шоны. Очки она на улице не снимает, пока не станет совсем темно. Никому не надо заглядывать ей в глаза. Просто не надо и все.

Сейчас очки у Шоны непроницаемые зеркальные, глаз за ними не видно совсем. А волосы – цвета электрик, он ей не слишком идет, зато отлично сочетается с желтым пальто, удачно купленном в секонд-хенде всего за семь евро; для февраля оно слишком тонкое, на тканой подкладке, как бабушка говорила, «на рыбьем меху», но в нем почему-то совсем не холодно даже в мороз. А уж в оттепель – вообще милое дело. Знай, ходи и сияй посреди серо-бурого пасмурного уныния, как гигантский лимон.

И Шона ходит, сияет лимоном и бирюзой на радость прохожим. Ежедневно, в любую погоду как минимум три часа. Как доктор прописал – Шонин внутренний доктор, крупный специалист по психическим расстройствам, вымышленный, но большой молодец. Сказал: за три часа интенсивных видений ты очень устанешь, тогда дома уже не будет ничего из ряда вон выходящего. А если повезет, вообще ничего.

Доктор – гений. Долгие прогулки по людным местам действительно помогают, теперь даже непонятно, как обходилась без них раньше. Главное – выйти из дома сразу, как только проснулась. Кофе будет в ближайшей кофейне, а душ – ночью, перед сном, когда вообще ничего не страшно, когда окружающий мир прост, понятен и весь – только твой.

Одежду Шона, как всегда, приготовила с вечера. И как почти всегда поутру на ней расселся гигантский скорпион, светло-коричневый, полупрозрачный, как из

дымного стекла, сквозь которое мутно просвечивают омерзительные внутренности, но это не страшно, к скорпиону Шона привыкла, он так давно ей мерещится, что стал кем-то вроде домашнего животного, собаки покойной бабушки, которую не любишь, но терпишь, не выбрасывать же на улицу. И она точно так же не любит, но терпит тебя. И даже выполняет основные команды. Рывкнешь: «Сгинь, зараза», – и вот уже никого.

– Молодец, – сонно пробормотала Шона. – До завтра, гаденыш. Хорошего дня.

Натянула колготки, джинсы и свитер, побрела в прихожую, где, конечно, черт знает что сейчас мечется по стенам, но спросонок довольно легко не обращать на эту пакость внимания. Какая разница, что тут успело завестись за ночь, если когда я вернусь, его уже не будет. Вот и хорошо.

Привычным движением схватила с тумбочки солнцезащитные очки, одной рукой сняла с вешалки пальто, другой повернула ключ, выскочила в подъезд – доброе утро, Черный! Кто бы мог подумать, тебя я уже почти люблю.

Бесформенная, непроницаемо темная, очень спокойная тень, получившая прозвище Черный, живет в подъезде. В смысле, Шона всегда видит Черного в подъезде по утрам. И не в том даже дело, что не боится, за долгие годы она уже разучилась бояться своих видений – если не всех, то почти – а в том, что ничего неприятного в облике Черного нет. Тень себе и тень, подумаешь, тоже мне горе.

Черный совсем не злой, он просто вечно голодный, как уличный кот. Шоне не жалко лишний раз его покормить. Для этого достаточно вспомнить, как увидела Черного впервые и неописуемо испугалась – в ту пору она еще боялась вообще всего. Не самое приятное воспоминание, но и далеко не худшее. А теперь, столько лет спустя, уже, можно сказать, смешное. В общем, Шоне совсем не трудно вспомнить свой страх, а Черный в итоге сыт и доволен. И великодушно отступает в сторону, чтобы Шоне не пришлось сквозь него проходить. Внятная демонстрация лояльности, гораздо больше, чем просто «спасибо». Черный все-таки удивительный молодец.

На улице Шоне, как всегда, сразу стало значительно легче. Видений здесь гораздо больше, чем дома, но, в отличие от домашних, они как бы не имеют лично к ней никакого отношения, а значит, ничем принципиально не отличаются

от обычных прохожих. Во всяком случае, можно так себе говорить. Да и необходимость сохранять невозмутимость на людях очень поддерживает. Как корсет слабую спину. Полезный лечебный корсет.

В ближайшей к дому кофейне сегодня новый помощник баристы, совсем юный, с острым птичьим лицом, худыми татуированными руками и невидимой ему самому красноглазой серой змеей, обвившейся вокруг шеи, а в остальном все как всегда: толстая добродушная Аста, над чьей головой постоянно вьются мелкие крылатые демоны, похожие на сиреневых воробьев, самая нестрашная галлюцинация всех времен; веселый кофейный дух разлегся прямо на кофемашине, лишнее подтверждение, что Аста молодец, у плохого баристы такие не заводятся, а если кто случайно с голодухи и залетит, будет сидеть с кислой миной; вечный пожар за одним из окон, с остальными здесь на удивление все в порядке; семейство невнятных зеленоватых пятен в дальнем углу, они, по Шониным наблюдениям, любят ссоры и по мере возможности им способствуют, из-за них в эту кофейню лучше ходить в одиночку и уж точно не выяснять тут отношения, даже знакомых не обсуждать – все-таки жаль, что нельзя повесить у входа табличку с соответствующим предупреждением, сочтут, в лучшем случае, дурной шуткой и сразу же снимут, сама бы на Астином месте сняла.

Других посетителей сейчас почти нет: половина двенадцатого, утреннее нашествие невыспавшихся офисных страдальцев уже закончилось, а время обеденных перерывов еще не пришло, поэтому в кофейне пусто, только возле самого входа сидит, уткнувшись в газету – надо же, кто-то еще читает бумажные газеты! – человек с зеркалом вместо лица. Такие довольно часто встречаются в городе, раньше Шона боялась их до обморока, но со временем убедилась, что ничего дурного они не делают, а просто зачем-то живут среди людей, к которым не испытывают особого интереса. Странные существа, поди их пойми.

– Эспresso пора? – по-свойски подмигнув, спросила Аста. Она уже привыкла, что постоянная клиентка – девочка? девушка? дама? – с зелеными волосами, всегда сперва заказывает капучино, пьет его быстро, практически залпом, как воду в жару, а потом просит эспresso и, расплатившись, уходит с ним на улицу, курить.

– Да, спасибо, – кивнула Шона. – Пожалуй, пора.

Закурить – всегда такое невероятное облегчение, что, если по уму, надо бы начинать с этого утро, не открывая глаз, сразу совать в рот сигарету и затягиваться спасительным дымом. Шонины видения его ненавидят, тают, разбегаются, прячутся кто куда. Но по утрам, на голодный желудок Шону от курева тошнит, а оставаться завтракать дома, среди всего этого бедлама ради возможности потом на целых десять минут разогнать его табачным дымом – удовольствие сомнительное. Попробовала пару раз, решила – к черту такие развлечения, нервы дороже непродолжительного торжества. За почти десять лет самостоятельной жизни Шона много экспериментировала со своим расписанием и убедилась, что быстро убегать по утрам на улицу, как сейчас, при всех технических неудобствах, оптимальный вариант, если хочешь сохранить работоспособность и силы, чтобы более-менее убедительно имитировать здравый смысл.

Ай, ну и ладно. Могло бы быть хуже. И было, собственно, хуже – долгие годы. Но и это как-то пережила.

Покурив, Шона отправилась дальше. Ей всегда было трудно гулять просто так, без цели, поэтому приходилось заранее придумывать, куда и зачем сегодня нужно пойти. Счастье еще, что ум без особых возражений соглашался принимать любую, даже самую пустяковую и нелепую цель: выяснить, куда переехала из Ужуписа любимая французская пекарня, закончился ли ремонт мостовой на Вильняус, и что сейчас цветет в бывшем проходном дворе на Бокшто, поискать, на каком углу повесили табличку с немецким названием бульвара Вокечю[1 - Речь об известном проекте Вильнюсской мэрии: на улицах Вильнюса, названных в честь других стран, народов и городов – Islandijos (Исландской), Rusu (Русской), Vokesciu (Немецкой), Zidu (Еврейской), Totoriu (Татарской), Varšuvos (Варшавской) и др. рядом с обычными табличками на литовском вывешиваются дополнительные с названиями на соответствующих языках.], проверить, не появились ли новые граффити в арке на улице Скапо, а заодно купить в экологической лавке мелкие сухие розовые бутоны – потом придумаю зачем.

Среди наспех сочиненных бессмысленных дел порой попадались вполне настоящие: всем время от времени бывает необходимо зайти в банк, на почту, в офис провайдера, в магазин канцтоваров, на фермерский рынок или в аптеку, и Шона не была исключением из этого правила; всякий раз удивленно радовалась: надо же, иногда я веду себя как совершенно нормальный человек! Но сегодня

никаких дел у нее в городе не было. Отгулять свои три часа и домой, за работу. До завтра столько всего нужно закончить, что даже думать об этом не хочется. Хотя работа – это, конечно, тоже эффективный инструмент спасения. Где бы я без нее была.

Шона шла по городу, стараясь более-менее придерживаться заранее составленного маршрута, внимательно смотрела по сторонам. Не то чтобы ей были так уж интересны чужие полупрозрачные двойники, тени причудливой формы, яркие пятна на лицах, крадущиеся чудища, ползучие гады и парящие над головами прохожих диковинные существа. Их Шона за свою жизнь видела несколько больше, чем ей хотелось бы. В свое время даже завела что-то вроде дневника наблюдений с иллюстрациями и подробным описанием поведения своих галлюцинаций, увлеклась, извела полдюжины толстых тетрадей, но в конце концов все сожгла и бросила это занятие, испугавшись, что, будучи задокументированным, безумие окончательно возьмет над ней власть.

Но правило номер один: чем больше увидишь, тем сильнее устанешь. А чем больше устанешь, тем меньше увидишь потом, то есть дома, особенно если самозабвенно зарыться в работу и отрывать от нее только чтобы покурить. Тогда ближе к ночи окружающий мир окончательно станет таким, каким казался ей в детстве – простым, понятным, привычным, местами красивым, но по большей части, скучным... восхитительно скучным, будем честны. Ради нескольких часов нормальной человеческой жизни имело смысл как следует постараться сейчас.

Чтобы не отлынивать от обязанности внимательно смотреть по сторонам во время прогулок, Шона придумала себе дело. Ну, то есть как дело – ясно, что просто спектакль для своего внутреннего театра. Как будто она – одинокий воин с невидимым огненным мечом, единственный защитник городского населения от злобных опасных тварей, которые иногда встречались среди ее видений. Раньше, в самом начале, то есть очень давно Шона считала их всех примерно одинаковым злом, потому что боялась, но за пятнадцать лет хочешь не хочешь, а привыкнешь к чему угодно. А привыкнув жить в окружении галлюцинаций, понемногу начинаешь отличать одни от других. И обнаруживаешь, что некоторые, несмотря на жуткий вид, исполнены радости – вот как этот длинный зеленый туманный, очень условно антропоморфный силуэт, только что обогнавший ее на перекрестке. Другие, скажем так, соблюдают нейтралитет – как, например, существа с зеркальными лицами. Третьи вредят по мелочи, как

зеленые пятна в углу кофейни; вряд ли стоит принимать их близко к сердцу, пусть себе суетятся, в конце концов, люди ежедневно терпят друг друга, а значит и этих мелких пакостников легко переживут. Но иногда встречается такое, что смотришь и понимаешь: перед тобой настоящее зло. Даже если оно просто твоя персональная галлюцинация, все равно такое даже мерещиться никому не должно.

Вот для подобных случаев у Шоны и был припасен невидимый огненный меч. Она, конечно, отдавала себе отчет, что меч существует только в ее воображении, но воображаемое оружие как раз идеально подходит для борьбы с примерещившимся злом. Вреда точно никому никакого, зато на душе сразу становится легче. Это очень важно, когда душа – твое самое слабое место. Бедная кривая, хромая, растерянная, от собственной тени шарахающаяся, вечно перепуганная душа.

Но об этом никто никогда не узнает. С огненным мечом или без него, Шона – стойкий боец.

На этот раз повода браться за огненный меч у Шоны не было. Зрелищ, как всегда, хватало, но придраться особо не к чему. Тихие, мирные, интеллигентные, занятые своими повседневными делами галлюцинации – могут же вести себя прилично, когда хотят.

Прогулка получилась довольно скучная, не самым любимым маршрутом, но время пролетело на удивление незаметно – вроде не так много ходила, а если верить часам, целых два с лишним часа. Значит, можно постепенно поворачивать назад. Если где-нибудь по дороге выпить кофе – вдумчиво, не торопясь, с сигаретой, а то и двумя, после этого точно пора будет возвращаться домой.

Обдумывая все это, Шона машинально свернула с проспекта Гедиминаса в маленький сквер, вернее, на площадь с клумбами, скамейками и памятником Винцасу Кудирке[2 - Винцас Кудирка – литовский композитор, врач, прозаик, критик, публицист, переводчик, поэт, автор литовского государственного гимна. Памятник ему установлен на площади, названной в его честь.] в центре – сама не зная зачем, по идее, к дому – это в противоположную сторону. Впрочем, с ней такое регулярно случалось: принимаешь решение, а затем делаешь ровно

наоборот. Все-таки трудно быть сумасшедшей – двадцать четыре часа в сутки, без перерыва, хоть и с некоторыми послаблениями вроде прогулок, остановок в кофейнях, работы, курения и крепкого сна без сновидений; эту свою особенность Шона считала огромной удачей – что бы ни творилось наяву, несколько часов отдыха ей было гарантировано: никогда никаких чертовых снов.

Привычно оглядевшись – что тут у нас сегодня показывают? – Шона начала догадываться, почему ее как магнитом потянуло на эту площадь. На одной из лавок, довольно плотно забитых школьниками, стариками и юными мамашами, сидело существо, до смешного похожее на человека, немолодого мужчину в добротном зимнем пальто, и одновременно настолько ужасное, насколько это вообще возможно. Шона видела этот кошмар впервые в жизни, и, господи, какое же счастье, что он не попался ей на глаза раньше, в ту пору, когда она боялась вообще всего. Умерла бы на месте при виде его огромной, подвижной, светлосвинцовой тени, от одного взгляда на которую начинает мутить – не метафорически, а по-настоящему, натурально тошнит от тоскливого отчаяния, как от яда, попавшего в организм.

Вот когда ей пригодился воображаемый огненный меч. Не будь меча, пришлось бы потом всю жизнь помнить, как застыла на месте, обхватив ближайшее дерево, чтобы хоть кто-то живой был рядом, как безмолвно визжала от ужаса, как молилась неизвестно кому, заранее не веря в его милосердие, чтобы спас, защитил, помог унести ноги прежде, чем нежная чуткая серая тень неподвижно сидящего на лавке существа вздрогнет, почуяв добычу, и поползет к ней.

Но если вспомнить, что в руке зажат невидимый меч, легко вообразить себя стойким, несокрушимым воином, который всю жизнь искал эту дрянь, чтобы навсегда с ней покончить, и теперь счастлив, что нашел. Все-таки иногда безумие – совсем неплохая штука, если правильно его применять.

Шона стояла на краю площади, прислонившись к дереву; со стороны, вероятно, казалось, что она любит солнце, только что выглянувшим из-за туч, сочиняет стихи или просто высматривает знакомого, а она в это время скакала, вернее, представляла, как скачет вокруг разлегшейся на площади серой тени, кромсая ее на куски, кровожадно наслаждаясь воплями жуткого существа, не слышными, разумеется, никому, кроме самой Шоны, что, честно говоря, только к лучшему, никаких нервов не хватит выдержать этот концерт.

Рубить тень почему-то оказалось удивительно трудно, хотя раньше все Шонины воображаемые битвы проходили с невиданной лихостью – раз-два, и все кончено. Она никогда не интересовалась боевыми единоборствами, и батальные сцены в кино оставляли ее глубоко равнодушной, поэтому Шона, при всем желании, не сумела бы детально представить себе долгую схватку двух равных по силе противников. И уж точно не получила бы от этой попытки ни малейшего удовольствия, а если так, то зачем.

Но теперь послушное обычно воображение отказывалось ей повиноваться. Шона, как ни старалась, не могла представить, что очередной удар огненного меча становится смертельным для ее противника, и тот, в последний раз дернувшись, навек исчезает с лица земли. Тень оказалась какая-то на редкость живучая, оставалась целой, сколько ее не руби. Орать – исправно орала, но Шона уже начала сомневаться, что именно от боли, а не на радостях, или просто из вежливости, потому что ничего этой твари от воображаемых ударов не делалось. Ни черта.

Неизвестно, сколько продолжалось бы это сомнительное развлечение, если бы Шоне не пришлось в голову оставить тень в покое и приглядеться к ее обладателю, все это время спокойно сидевшему на лавке и, судя по блаженному выражению совершенно человеческого лица, от души наслаждавшемуся происходящим. Ему это доставляет удовольствие, – внезапно поняла Шона. – Слишком острое, поэтому он не стал ни убегать, ни сопротивляться. Сладко поганцу. Ну ничего, сейчас.

Представить, как огненный меч опускается на голову пожилого мужчины в пальто и разрубает его пополам оказалось настолько трудно, что у Шоны потемнело в глазах, руки непроизвольно сжались в кулаки с такой силой, что на ладонях потом остались кровавые следы от ногтей, все мышцы окаменели, словно бы сведенные судорогой, а из горла – о боже, позорище! – вырвался какой-то сиплый, скорее птичий, чем человеческий крик, но именно он, как ни странно, помог. Перед внутренним взором наконец возникла нужная картинка: меч пронзает врага, и тот исчезает вместе со своей отвратительной тенью – навек, я надеюсь, – подумала Шона, – я очень надеюсь, навек.

Потом Шона вполне предсказуемо обнаружила, что сидит на голой земле, все еще обнимая ствол дерева, расстаться с которым не было ни сил, ни желания, ни, будем честны, мужества. Без дерева слишком страшно. Не хочу сейчас быть одна.

К счастью, окружающие не обращали на нее внимания. Подумаешь – какая-то крашенная девица прямо на землю села. Невелико событие. Еще и не такое экзальтированная молодежь творит.

Шона перевела дух – вроде бы пронесло. В смысле обошлось без особого позора. Если и правда кричала вслух, никто не услышал. И дядьки того с кошмарной тенью на лавке действительно больше нет. Хорошая была галлюцинация, отборная. После такого, по уму, положен недельный отпуск от чудесных видений. Да кто ж его мне даст.

Попыталась встать, тут же поняла, что пока не может – слишком слаба. И одновременно увидела, как с другого конца площади к ней почти бегом приближается полицейский. Вернее, полицейская. В общем, тетка в форме, с отчетливой гуманистической озабоченностью на лице.

Только ее мне тут не хватало, – обреченно подумала Шона. – Сейчас она спросит, какого черта я расселась на газоне, не напилась ли с утра пораньше, кто мой драгдилер, и не вызвать ли «скорую». Ладно, что теперь делать. Скажу, голова закружилась, но уже постепенно проходит, обойдемся без медицинского вмешательства. Отбрешусь как-нибудь.

Женщина в полицейской форме присела рядом с Шоной на корточки, спросила:

– Ну как вы? – и, не дожидаясь ответа, добавила: – Слабость – не беда, скоро пройдет. Но учтите на будущее: так это не делается. Тоже мне, битва столетия – на Голодного Мрака с обычным мечом!

– Не с обычным, а с огненным, – педантично поправила ее Шона.

– С обычным огненным мечом, – кивнула полицейская женщина. В ее устах это прозвучало как полный абсурд.

Она что, сумасшедшая? – подумала Шона. – Нет, стоп, так не пойдет. Сумасшедшая у нас я. И полная дура, к тому же. Зачем было говорить про меч?

– Извините, пожалуйста, у меня голова закружилась, – поспешно сказала она. – Сама не понимаю, что говорю. Но уже проходит. Немножко посижу, и все будет в порядке, я точно знаю. Весной такое иногда случается, наверное, авитаминоз.

– Да ладно вам, – усмехнулась та. – Хорош авитаминоз. Я видела вашу битву с Голодным Мраком – оно, если вам интересно, именно так называется; впрочем, один мой коллега утверждает, что его настоящее имя Кхаррский Прожорливый Демон Отчаяния. Опасная тварь, хуже, пожалуй, не придумаешь. У Голодного Мрака ядовитая тень, всякий, на кого она упадет, обречен на долгое мучительное умирание от лютой тоски по жизни и по себе живому, которого больше нет. Но вы не волнуйтесь, мой коллега его догонит и разберется. Он как раз по такой пакости крупный специалист.

Шона смотрела на женщину-полицейского во все глаза. С виду совершенно обыкновенная, только тем и отличается от большинства прохожих, что никакая пакость за ней не волочится и не вьется над головой. А говорит такое, что впору поздравить себя с началом содержательных слуховых галлюцинаций. Раньше только визжали, рычали и верещали, а теперь человеческим голосом заговорили. И это, конечно, хреново. Хуже не придумаешь, честно говоря.

– Да ладно вам, – снова сказала женщина. – Я настоящая. Не мерещусь. Хотя понимаю ваши сомнения. Вы слишком долго оставались один на один со своими видениями. Вернее, с тем, что считали видениями. Обсудить их было не с кем и опереться не на кого. Это уже несколько лет продолжается, да?

– Осенью будет пятнадцать, – неохотно ответила Шона. – Когда это началось, был сентябрь.

– Ничего себе! Пятнадцать! Я в свое время не продержалась и двух лет. То есть, на самом деле, вообще нисколько не продержалась, сразу пошла вразнос. Мне крупно повезло: меня заметили, подобрали, научили, что с этим делать, помогли превратить невыносимую жизнь в интересную, в общем, спасли, как в сказке, практически, в самый последний момент. А вы – господи боже! Пятнадцать лет без помощи и поддержки. И наверняка в полной уверенности, что сошли с ума.

– Естественно, сошла. Но я с этим справляюсь.

– Вижу, что справляетесь. Но не понимаю, как. Я не смогла.

Шона внимательно посмотрела на свою собеседницу. Совсем молодая, худенькая, кудрявая, полицейская форма на ней сидит так, словно взяла поносить у старшего брата. А кстати, черт ее разберет, может быть и взяла. Мало ли, сколько еще психов в этом чертовом городе. Не одна же я.

Почувствовав ее сомнение, женщина улыбнулась, достала из внутреннего кармана удостоверение, протянула Шоне.

– Меня зовут Таня, – сказала она. – Я действительно младший инспектор Граничной полиции города Вильнюса, не какая-нибудь самозванка.

– «Пограничной»? – зачем-то переспросила Шона. Просто чтобы не молчать.

– Не «пограничной», а именно граничной. Речь как раз о той границе, которая пролегает между всем, что вы видите, и, скажем так, остальными людьми. Понятно, что это упрощение. Но нам с вами сейчас нужно не изобрести идеальную формулировку, а просто договориться. Пока вы не решили что я – очередная галлюцинация, теперь уже слуховая, и не сбежали подобра-поздорову, вернее, ровно наоборот, от добра... Извините, секундочку, мне звонят.

Схватила за телефон, почти сразу расплылась в улыбке, сказала: «Ну ты молодец! Конечно, пойдешь, меня не дожидайся. Найду тебя через полчаса».

Торжествующе посмотрела на Шону и объявила:

– Нет больше никакого Голодного Мрака. Гитлер капут!

Это «Гитлер капут» из старых фильмов про войну, которые смотрела в совсем раннем детстве, с дедом, большим любителем такого кино, поразило Шону в самое сердце. И она наконец поверила, что женщина в полицейской форме – настоящая. И действительно сказала все, что сказала. Галлюцинации шутить не

умеют, в этом Шона была совершенно убеждена.

Господи, выходит, самая дурацкая моя версия, сочиненная исключительно ради утешения – будто все, что я вижу, существует на самом деле, просто другие люди слепы – оказалась правдой? Невозможно, но... получается, так и есть? И вот наконец-то живой свидетель? Она объяснит мне, что делать, чтобы снова ослепнуть? Или хотя бы научит, как с этим нормально жить?

– Не знаю, как вы, – сказала Таня, – а я очень хочу закурить. Но на площади Винцо Кудирко нельзя, тут со всех сторон соответствующие таблички развешаны. Пойдемте куда-нибудь, где можно, как вы на это смотрите? Уже можете встать?

– Ради сигареты и чашки кофе я сейчас не то что встану, а пять километров, не останавливаясь, пробегу, – пообещала Шона.

Соврала, конечно. Какие там пять километров. Пятьсот метров трусцой – личный, причем еще школьный рекорд.

Стоило начать рассказывать, и Шона уже не могла остановиться.

– Когда мне было пять лет, – говорила она, – бабушка, папина мама, попала в дурдом. То есть в психоневрологический диспансер; ай, да как ни назови... Понятия не имею, что тогда случилось, я вообще мало знаю об этой бабке, родители редко с ней виделись, но навещать в больницу поехали и меня зачем-то взяли с собой, наверное, просто оставить было не с кем. И как же мне там не понравилось! Помню, что начала реветь, едва переступив порог, и успокоить меня было невозможно до самого вечера. Даже не знаю, что именно меня тогда напугало, скорее всего, не что-то конкретное, а сама атмосфера, но запомнила этот визит в сумасшедший дом на всю жизнь. И дала себе слово, что если вдруг однажды чокнусь, ни за что не подам виду. И жаловаться не буду, никому не скажу ни слова, и к врачу, хоть стреляйте, не пойду. Все что угодно лучше, чем попасть в это жуткое место. И когда в тринадцать лет увидела, как из кухонной стены над телевизором выползает что-то вроде толстой бугристой змеи, сразу вспомнила, как надо себя вести. Чуть в штаны не наделала, но сдержалась, не закричала, просто ушла в свою комнату, заперлась и сидела до вечера, благо там никаких чудовищ не было. Я надеялась, больше никогда их не увижу, но это,

конечно, зря – уже на следующий день на потолке появились живые синие кляксы, ползали, бормотали что-то невнятное, и, конечно, не отмывались, хотя я терла их так, что побелка сошла. Ближе к Новому году в углу моей комнаты завелось что-то вроде паука с обезьяньей мордой, а за кухонным окном вместо стены соседнего дома появился страшный, черный, обугленный мертвый лес; собственно, он до сих пор в том окне мне мерещится, я буквально позавчера навещала родителей, зашла на кухню, посмотрела – никуда не делся, зараза такая, стоит. И змея на месте. Хотя, конечно, никакая она не змея, обычный домашний дух, раздобревший на маминых страхах съесть лишнее, вредное или просто что-то не то, на каждой второй кухне такое водится, особого вреда от них нет. Но это я сейчас научилась их различать и знаю, что все эти живущие среди нас твари по большей части безобидны или почти, а тогда все казались одинаково ужасными – достаточно того, что они вообще есть и никуда не деваются. Наоборот, со временем всякой пакости становилось больше и больше; нечего и говорить, что никто, кроме меня, никогда ее не видел. Хорошо хоть все происходило постепенно, и я худо-бедно смогла привыкнуть – если не к самим галлюцинациям, то хотя бы не кричать и не убегать.

– Когда окончательно поняла, что мои дела плохи, ничего само не пройдет, я взяла себе новое имя, – говорила Шона, – звучит нелепо, но мне здорово помогло. Как будто я сама, девочка по имени Лика, спряталась в тайном убежище до тех пор, пока все не закончится, а справляться с неприятностями теперь будет Шона. Шона – настолько не я, насколько вообще возможно, просто карнавальный костюм, вернее, скафандр для погружения во всю эту муть; какая мне разница, что случится с дурацким скафандром, какие кошмары ему привидятся в мое отсутствие – глупо, да? Но мне так было гораздо легче смириться с безумием, а это самое главное. Причем имя я нарочно сама не выбирала, чтобы не взять, какое понравится, а значит будет иметь хоть какое-то отношение к настоящей мне. Открыла энциклопедию наугад, удачно попала на короткое и более-менее благозвучное слово; Шона – это же вообще никакое не имя, а просто название многочисленной народности из Южной Африки. Целый африканский народ, тридцать миллионов человек, как-нибудь да справятся с Ликиными кошмарами. В общем, Шону не жалко, пусть боится, рыдает и сходит с ума вместо меня – так я тогда решила.

– Конечно, поначалу я вела себя странно, – говорила Шона. – Ну а как иначе? В школе могла, не спросив разрешения, выйти из класса посреди урока – а что делать, если прямо на мою парту взгромоздился какой-то жуткий малиновый черт со щупальцами вместо глаз. Дома целыми днями сидела взаперти в своей комнате – счастье, что она у меня была, на виду у всех я бы точно не выдержала.

Но мне повезло, все списывали на возраст, взрослые заранее ждут от подростков дурацкого поведения. Злятся, конечно, но в дурдом вот так сразу не волокут, и на том спасибо. А мои родители вообще золотые люди. Мало того, что терпели, еще и старались помочь. Деликатно спрашивали, что со мной происходит, говорили, мы со всем справимся, обещали защищать и любить, что бы ни натворила – вот это вот все, что бывает позарез необходимо услышать любому подростку. Но мне, по понятной причине, помогала только закрытая дверь в мою комнату. Да и то сильно через раз.

– Школьный приятель, – говорила Шона, доставая очередную сигарету, – подбил меня попробовать покурить. Мне сперва совсем не понравилось: горько, противно, горло дерет! Но несколько странных тварей, пялившихся на меня с кирпичной стены сарая, всполошились и убежали после первой же затяжки. Как я тогда обрадовалась! Решила, что нашла спасение. Но увы, убегают они, как выяснилось, ненадолго. И всегда возвращаются. Но ладно, хотя бы так.

– Святая правда, – кивнула Таня, до сих пор не проронившая ни слова. – Табачный дым любят только высшие духи, а всякая пакостная мелочь его боится; честно говоря, я подозреваю, что борьбу с курением затеяли именно они, благо с умением навязывать людям свои желания у них все в порядке... Ладно, сейчас это неважно, просто когда-то мне тоже помогало закурить, да и сейчас, в некоторые особо прекрасные моменты, вроде встречи с нашим покойным общим знакомым Голодным Мраком. Но еще эффективней было напиться до состояния полного свинства. Тогда видения покидали меня надолго. Алкоголь отупляет; в ту пору мне это казалось спасением. А вам?

– Мне ни разу не удалось столько выпить, – усмехнулась Шона. – Хилый у меня организм. Блевать начинаю раньше, чем видения разбегаются, так что никакого смысла. А если выпить чуть-чуть, только хуже становится. В смысле, наоборот, сбегается толпа, да такая, что Босх диснеевским мультиком на их фоне покажется. Все что вы хотели знать о городском шаманизме, чтобы громче кричать во сне. Хуже было только, когда... В общем, никакой личной жизни. Любят гаденыши это дело, такое впечатление, что билеты заранее продают. И вот это, конечно, ужасно нечестно. Несправедливо. Я тогда была по уши влюблена, причем счастливо, в смысле, взаимно, но как дошло до дела, не выдержала и недели. Просто ад какой-то разверзся. Почти на десять лет мне хватило. Потом еще раз рискнула – с тем же результатом. Думала, за столько лет уже ко всему привыкла, ни черта не боюсь, не буду обращать внимания, но ошибалась, у каждого есть свой предел... Ладно, что делать. Одной в моем

положении проще.

– То же самое, – энергично кивнула Таня. – Один в один. Только я, в отличие от вас, сразу сдалась. Сумасшедшего дома тоже боялась до смерти, потому по врачам не пошла. Зато бухала тогда страшно, не останавливаясь, в надежде окончательно отупеть и больше никогда ничего не видеть. Но помогало только на время, потом становилось еще хуже. Причем до сих пор я думала, что была очень стойкой: как же, все-таки не наложила на себя руки, дотянула до того дня, когда мой нынешний шеф подобрал меня, практически полумертвую; говорит, совершенно случайно, такая уж я везучая, а на самом деле, кто его знает, может, раньше приметил и нарочно выжидал из каких-то стратегических соображений, он хитрый и любит делать все не когда попало, а в так называемый подходящий момент. Но бог с ним, не о нем сейчас речь. Просто не могу понять, как вы выдержали столько лет.

– Ну а что оставалось делать, – пожала плечами Шона. – Для самоубийства у меня кишка тонка, да и родителей с братом жалко, они меня любят, нельзя их так подставлять. К тому же, с каждым годом становится проще, все-таки человек ко всему привыкает. И придумывает все больше эффективных способов облегчить себе жизнь. И самое главное, мне повезло с организмом: быстро устаю от слишком интенсивных видений. Если сидеть дома круглые сутки, будет сплошной вялотекущий кошмар, это мы уже проходили. Зато если прямо с утра увидеть побольше, потом свободна до завтра. Пока не выплусь, все будет более-менее в порядке, почти как у нормальных людей, особенно ближе к ночи. Сны мне, к счастью, не снятся, видимо, на них не остается сил.

– Не хватает энергии для концентрации внимания на онейрологических образах, – кивнула Таня. – Теперь понятно, почему мы с вами не встретились раньше. Наша основная работа происходит в пространстве сновидений...

– В пространстве... Где?!

– В пространстве сновидений, – повторила Таня. – Можно я потом объясню?

– А будет какое-то «потом»? – осторожно поинтересовалась Шона.

Она, конечно, хотела спросить: «Правда же, вы теперь меня не бросите?» Но даже не то чтобы постеснялась, просто как-то не выговорилось. Слишком давно

отвыкла рассчитывать на других.

– Ну а как вы думаете? – удивилась Таня. – Что я сейчас поднимусь, скажу: «Спасибо, что развлекли, мне пора», – попрощаюсь и уйду, не оставив визитки?

– Я просто не знаю, – вздохнула Шона. – Я же вижу вас впервые в жизни. И до сих пор не очень верю в происходящее. Теоретически вы можете повести себя, как угодно. В том числе, так.

– Кстати, какие у вас были планы? – спросила Таня. – На сегодня, я имею в виду. Что вы собирались делать, если бы не встретились со мной?

– Как всегда, вернуться домой и сесть за работу – до ночи, если не до рассвета. У меня страшный завал.

– Вы еще и работать умудряетесь?

– Ну а как иначе? Без работы я бы точно не выжила. Дело даже не в том, что одними галлюцинациями сыта не будешь, просто работа очень эффективно от них отвлекает, особенно в сочетании с прогулками и табаком. Профессию я выбирала, уже вполне представляя, какая жизнь мне предстоит, и трезво оценивая свои возможности. Остановилась на том, что мне по плечу. Галлюцинации не особо мешают учить языки, а бесконечная зубрежка так утомляет, что становится не до видений. В итоге из меня получился неплохой технический переводчик – ничего выдающегося, зато аж с пяти языков. Я аккуратная и обязательная, работодатели меня любят и выражают свою любовь, как умеют: нагружают по самое не могу. Но мне только того и надо. Все-таки работа – это почти настоящая жизнь.

– Иногда даже больше, чем просто какая-то жизнь, – улыбнулась Таня. – Вам еще предстоит в этом убедиться, если я хоть что-то смыслю в нашей кадровой политике. Шеф в лепешку разобьется, чтобы заполучить такого сурового самурая с огненным мечом... Но для начала скажите: вы не могли бы еще пару часов погулять? За это время мои коллеги успеют навести у вас дома порядок.

– Порядок?!

– Я имею в виду, привести вашу квартиру в такое состояние, чтобы вам было приятно просыпаться там по утрам. Общество у вас собралось не совсем подходящее, если я правильно поняла. Это легко поправимо.

Шона тысячи раз рисовала в воображении подобный разговор. Как неведомо откуда вдруг приходят могущественные избавители, говорят: «Твои мучения кончились, теперь мы будем тебя защищать». Представляла, как будет смеяться от счастья, плакать от облегчения, виснуть на шее, валяться в ногах, благодарить, неизвестно что обещать. Но теперь, когда это случилось на самом деле, она просто кивнула:

– Не вопрос, если надо, еще погуляю. – И, спохватившись, добавила: – Только Черного пусть не трогают. Он совсем безобидный. Живет в подъезде. Я буду его кормить.

Улица Витебско

(Vitebsko g.)

Самая интересная в мире книжка

– Не могу найти книжку, – жалуется Дина. – Причем даже не представляю, где и как ее искать.

– Ничего удивительного, – ухмыляюсь я.

Дома у Дины царит бардак. Чертовски обаятельный и уютный, но бардак есть бардак – состояние материи, препятствующее любому виду поисковых работ.

– Нет, – мотает головой Дина. – Это тебе только кажется, что здесь ни черта не отыщешь, на самом деле, я свою библиотеку знаю очень хорошо и все нужное нахожу с лету. А та книжка была у меня в детстве, потом куда-то пропала.

Давным-давно, по-моему, еще в родительской квартире. Знаешь, как бывает: несколько лет не вспоминали, потом хватились, а ее нет. Наверное, кто-нибудь взял почитать и не вернул.

– Ну так в Интернете... – начинаю я, но Дина не дает мне договорить.

– Если бы так просто! Но как искать, когда не знаешь, что именно ищешь?

– А ты не?..

– В том-то и дело. Удивительно: в детстве казалось, это самая интересная книжка в мире, а теперь не могу вспомнить ни как она называлась, ни фамилию автора, вообще почти ничего. Только общее впечатление, очень счастливое: большая семья, дети и взрослые, дружно живут в старом доме на окраине маленького городка, с кошками, собаками, двумя попугаями, стеснительным домовым и кустами черемухи за окном. Что-то у них постоянно происходит – такие, знаешь, безобидные приключения для младшего школьного возраста, игры, походы и праздники, дети иногда ссорятся, попугаи дразнятся, собаки лают, кошки теряются, и их ищут всей семьей, дядя пишет роман, тетя просто странная, папа знает больше всех на свете, мама всегда оказывается права. Как муми-тролли или как Дарреллы на Корфу, только не те и не другие. И главная героиня там была девочка, примерно моя ровесница и тоже Дина. Я тогда, конечно, думала, что книжка про меня. Про то, как бы я жила, если бы родилась не у своих мамы с папой, а в другой семье, в далеком сказочном городе, таком маленьком, что там даже троллейбусов нет. Получалось, отлично жила бы. Хотя у меня и так все было очень неплохо. Но все-таки этой книжной Дине жилось гораздо интересней!

– Оно и понятно, – киваю я. – Когда ты книжный персонаж, приключения тебе гарантированы. А если живой человек – ну, извини.

– Представляешь, – улыбается Дина, – название я забыла, зато начало помню наизусть: «В одном маленьком-маленьком городе стоял большой-пребольшой дом, и на всех окнах там были занавески разного цвета». Я тогда еще всех расспрашивала: «Большой-пребольшой дом – это какой? Как наш, пятиэтажный?» А взрослые отвечали: «Ну что ты, по-настоящему большой дом – это небоскреб». И показывали картинки в журналах. Но в книжном доме было всего три этажа! А он почему-то все равно считался большим-пребольшим.

– Из этого следует, – объясняю я, – что этот твой сказочный городок был совсем крошечный. Скорее даже поселок. Возможно, городского типа. ПЭГЭТЭ. Для детской книжки – то что надо, а в реальности упаси боже в таком жить.

Но Дина меня не слушает.

– Из-за этой книжки, – говорит она, – я однажды страшно поссорилась с Севкой. В смысле, с двоюродным братом. Они приехали к нам в отпуск, почти на целый месяц, и мы с Севкой сперва так подружились, что я водила его на старое кладбище и даже показала свой тайник в овраге, а это был мой самый великий секрет: латунный сундучок, в нем кольцо с зеленой стекляшкой, монетка с дыркой, кривая речная жемчужина и утащенные у папы рыболовные блесны, такие красивые, что хоть плачь. И свою любимую книжку дала почитать, Севка ее буквально за день проглотил, сказал, самая интересная книжка в мире, очень ему понравилась, особенно, что главный герой тоже мальчик по имени Сева, Всеволод, почти наш ровесник, а уже выступает в цирке в акробатическом номере, как взрослый. И на воздушном шаре этот книжный Сева летал, и бандита однажды поймал, ничего не боялся, а дальше я не дослушала, заорала: не мальчик, а девочка, и никакая она не Сева, а Дина, как я, и в цирке не выступала, зато у нее собака овчарка, два попугая, и она дружила с домовым. Теперь смешно вспоминать, но как же я тогда разозлилась! Как будто Севка своими дурацкими выдумками все отменил – мою любимую Дину, ее трехэтажный дом, собаку и домового, а значит, в каком-то смысле меня саму.

– Ничего смешного. Я бы тоже разозлился.

– Севка тогда страшно обиделся, – вздыхает Дина. – Его, в общем, можно понять: когда вдохновенно врешь, ужасно неприятно, если разоблачают. Но в восемь лет я в такие тонкости не вдавалась. Наврал, значит наврал, точка. И главное, непонятно зачем. Мог бы своего акробата просто так выдумать, как будто у него дома есть такая книжка, пересказал бы своими словами, я бы слушала, открыв рот, все были бы счастливы. А он, балда... Рассорились мы тогда – ужас как. И не помирились до его отъезда. В следующий раз увиделись только через несколько лет, все было тихо-мирно, но никакой особой дружбы уже не вышло... Знаешь, смешно: мы с Севкой в последнее время часто созваниваемся, потому что тетя Лина болеет, и я недавно прямо его спросила: «Скажи, дорогой, зачем ты тогда про книжку наврал?» А он ни в какую не сознается, говорит: «Да ничего я не наврал, а вот почему ты закатила истерику, до сих пор не понимаю». Я так и села, с отвисшей челюстью. Взрослый же человек! Хотя на самом деле, все

объяснимо: он так увлеченно тогда врал про мальчика-акробата, что запомнил не настоящую книжку, а свою выдумку. Память еще и не такие выкрутасы выделывает, мне ли не знать... Нет, ну слушай, как же обидно, что я названия не помню! Так хочется сейчас эту книжку перечитать.

– Да ладно тебе, – говорю я. – Любимые детские книжки взрослому лучше не перечитывать. Я так уже пару раз разбил себе сердце, больше никогда.

– Нет, мне нормально, – отмахивается Дина. – Когда Рутка была маленькая, я с удовольствием кучу детских книжек перечитала. Вслух, как бы для нее, но, по моему, мне было интересней. Начинала читать и сразу впадала в детство, мне снова все нравилось, никакого разбитого сердца, ты что. Но я даже не поэтому. В смысле, не ради удовольствия ту книжку ищу, а просто... Тут такое дело: когда я с Севкой поговорила, вспомнила, что с папой тоже однажды случилось недоразумение. Ну или я его как-то не так поняла. В общем, однажды он решил посмотреть, что я читаю, взял мою любимую книжку и стал листать. Неожиданно увлекся, весь вечер ее читал. А отдавая, сказал: «Очень интересная, жалко, что у меня в детстве такой не было, – ну, примерно так. Но потом добавил: – Не знал, что тебе нравятся книжки про пиратов». Прозвучало ужасно странно, потому что в моей книжке про пиратов ничего не говорилось, вернее, почти ничего, в пиратов играли Динины братья, но это был короткий, незначительный эпизод. Однако спорить я не стала: папа есть папа. Не двоюродный брат. На него особо не наорешь. Ну и потом, может быть, ему показалось, это самое важное в книжке – что дети играли в пиратов? Потому что он сам когда-то так играл? В общем, я удивилась, но быстро забыла. А теперь вспомнила. И про маму тоже.

– Ого! Дело принимает интересный оборот. Твоя мама тоже вычитала там про пиратов? Или про акробатов? Или что?

– Понятия не имею, что она вычитала. Но почему-то спросила: «Динка, а тебе такое еще не рано читать?» Но потом махнула рукой – ай, ладно, читай на здоровье, если интересно. Я, конечно, не стала расспрашивать, почему мне такое рано. Может, ей домовой не понравился? Или что кто-то там целовался с соседкой? В общем, пусть думает, что хочет, главное, книжку не забрала. А теперь мама уже ничего не помнит, я спрашивала. Зато папа про пиратов до сих пор не забыл. Говорит, это был приключенческий роман, отличный, в голову не приходило, что девчонки такое могут любить. И я теперь совсем ничего не понимаю: Севка, папа и мама, все прочитали то, чего в моей книжке не было. Три человека! Ладно бы, кто-то один...

– Интересные дела, – говорю я. Лишь бы что-то сказать.

Дина внимательно смотрит на меня.

– Ты какой-то кислый. Я тебя загрузила этой своей дурацкой историей про книжку?

– Да нет, что ты. Просто устал.

Я сегодня и правда не выспался, а потом бегал по делам, даже не присел толком, вот сейчас у Дины – первая передышка за весь день. Но дело не только в этом. А...

– Пойду, пожалуй, домой, – говорю я. – Буду весь вечер валяться с книжкой, которую вчера у тебя утащил.

– А что ты вчера утащил? Я не обратила внимания.

– Сейчас не помню, как называется. Завтра верну – сама увидишь. Но совершенно точно не та, которую ты ищешь. В смысле не детская. Ни домовых, ни пиратов, ни даже цветных занавесок, но серьезным недостатком я бы это не назвал. Оторваться почти невозможно. Из-за нее, собственно, и не выспался. Но все равно только до середины дочитал.

– Ясно, – улыбается Дина. – Ладно уж, что с тобой делать, иди.

* * *

От Динкиного дома на улице Витебско до моего всего какая-то несчастная пара кварталов, но я все равно иду так быстро, что, можно сказать, бегу. Весь день ждал момента, когда можно будет вернуться и дочитать эту чертову книжку. Вроде ничего особенного, но меня зацепило. Там главный герой, по забавному совпадению, мой тезка, сперва видел во сне удивительный город, одновременно под водой и в горах, тосковал о нем, а потом увидел его из собственного окна наяву; пока не знаю, чем там дело кончилось, и мне интересно, так интересно, как не было еще никогда.

Улица Гележинкёле

(Gelezinkelio g.)

Все получилось

– Сейчас вылетит птичка, – говорит дядя Яша.

Ида еще не знает, что он дядя Яша. Но теперь будет знать. Дядяша, вот как его зовут. Всех как-нибудь зовут. Например, Иду зовут Ида, и еще Солнышко, и Заинька, и Сладенький, и Нашадевочка.

Иде вчера исполнился год. И поэтому сегодня ее нарядили как принцессу и отвели к фотографу, чтобы «на память». Что такое «день рождения», «принцесса», «фотограф» и тем более, что такое «память», Ида тоже не знает. Зато она отлично знает, что такое «птичка». «Птичка» – это голубое и желтое, маленькое, пищит и щелкает, прыгает и летает, в руки брать нельзя, смотреть можно. Птичка живет дома, в комнате у бабушки. Называется «Лори и Джерри», а еще «попугай», «попугайчики». Птичка – это хорошо.

– Сейчас вылетит птичка, – говорит дядя Яша и прячется за какую-то непонятную большую штуку, не похожую ни на стол, ни на стул, ни на кровать, ни на шкаф. Вообще ни на что не похожую! Там, наверное, и живет птичка. Все где-нибудь живут.

Ида сидит смирно, смотрит внимательно. Ждет птичку. И вот! Вылетает! Голубая и желтая, пищит и щелкает. И летит, и улетает в окно. Ида знает, что такое окно. Оно прозрачное, через него видно небо, трогать нельзя, смотреть можно.

– Ой, и правда птичка. Даже две. Как вы это делаете? – спрашивает мама.

А фотограф дядя Яша ничего не говорит, только смотрит – на Иду, на маму и в окно. На Иду, на маму и в окно. Ида чувствует, что-то не так. Что-то плохо. Дядяша волнуется. И мама волнуется. Ида начинает плакать, потому что теперь она тоже волнуется – за компанию.

Она плачет и все никак не может успокоиться, даже дома, когда с нее сняли колючее белое платье «какпринцессу». И бабушка говорит маме непонятное, но, кажется, плохое:

– Говорила тебе, не надо на Павла[3 - Дело, скорее всего, происходит 28 января, в так называемый Павлов день. День получил свое название в честь церковного праздника – дня памяти преподобного Павла Фивейского. Однако в народе этот день имел еще одно название – День колдунов. В старину люди верили, что именно в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В Павлов день старики советовали остерегаться порчи и сглаза, а также свести к минимуму контакты с посторонними людьми.] дите из дома выносить, сглазят.

А мама тоже что-то ей говорит. Тоже плохое. Они теперь стали сердитые – и бабушка, и мама. А сердитые – это даже хуже, чем когда волнуются. Если с ними рядом сидеть, никогда плакать не перестанешь. Поэтому Ида идет в комнату, где сидит папа, хватая его за теплую твердую ногу, держится за нее и стоит. Папа спокойный, и Ида тут же перестает плакать. Ей хорошо.

– Тичка! – говорит она папе. – Тичка!

И папа радуется.

* * *

– Сейчас вылетит птичка, – говорит дядя Яша.

Он так всегда говорит, когда Иду приводят к нему фотографироваться, на следующий день после дня рождения. Ида родилась двадцать седьмого января. Это было вчера. Ей исполнилось шесть лет. А сегодня двадцать восьмое января, так написано в календаре. Ида уже давно умеет читать и цифры тоже знает, хотя складывать и вычитать пока не научилась. На палочках – пожалуйста.

Посчитать, сколько их в кучке, добавить или забрать нужное число, опять посчитать, сколько стало, и будет правильный ответ. А без палочек не выходит, Ида пытается их себе представлять в уме, но это трудно, палочек много, они разноцветные и разбегаются. Или складываются в узоры, попробуй тут сосчитай. Но папа говорит, все получится. «Потом, когда-нибудь». Так взрослые говорят, если не могут точно сказать, какого числа и в каком месяце что-то случится.

– Сейчас вылетит птичка, – говорит дядя Яша.

Но Ида уже знает, что птички не будет. Это взрослые просто так говорят, когда фотографируют. Не обещают настоящую птичку, а просто говорят, и все. Это ничего не значит, что-то вроде считалки. Ну, например, когда считаются: «Эники-беники ели вареники», – на самом деле никаких вареников никто не ест. Но это все равно не обман, а считалка, игра, стишок, просто так.

Ида сидит на стуле и старается не моргать. А то дядя Яша скажет: «Еще раз», как в прошлом году. Он тогда аж три раза ее фотографировал. А три раза неохота. Ида вообще не любит фотографироваться, но мама все равно ее сюда водит. А бабушка сердится, говорит непонятное: «Сглазят» – и не объясняет, что это значит. Наверное, это просто старинное слово, как «смарагд» или «тенета». Но мама ее не слушается, хотя бабушка старше. Мама говорит, фотографироваться после дня рождения – это «наша традиция». «Традиция» – это когда каждый год делают одно и то же. Бывают хорошие традиции, например, украшать елку. Хотя елка все-таки каждый год разная и игрушки разные, может быть, не все, но новые обязательно появляются. А фотограф дядя Яша каждый год один и тот же. И одинаково говорит про птичку. А птичка не вылетает. Да и кому она нужна, вон их на улице сколько – птичек.

И тут свет кааак вспыхнет! И камера кааак щелкнет! Но Ида все равно не моргнула. Решила, что не будет моргать, и все получилось.

– Так и не вылетела птичка, – говорит дядя Яша.

Он почему-то грустный. Как будто сам хотел увидеть птичку. Как маленький.

* * *

– Сейчас вылетит птичка, – говорит дядя Яша.

– Я уже не маленькая, – сердито отвечает Ида.

Она хмурится и смотрит в сторону, не в камеру. Еще чего. Она не собирается, как идиотка, смотреть в объектив и улыбаться для дурацкой фотографии. Ида и без того чувствует себя полной душой. Мама сказала, пойдем фотографироваться, и я послушалась, думает она. Не хотела, а все равно пошла. Как безвольная дура. Как корова на бойню. Пошла! Папа говорит, человек должен стоять на своем, когда речь идет о чем-то важном, но при этом надо учиться уступать близким в мелочах. Ай, мало ли что он там говорит. Пусть сам уступает. «В мелочах». И вообще в чем угодно. А у меня все важное, думает Ида. Все, что со мной происходит, – важное. А они не понимают, думают, важное – это только у них самих. А я... А у меня...

– Ладно, тогда птичка не вылетит, – говорит дядя Яша. – Если ты уже не маленькая, значит, птичек не будет. Большим птичек не положено.

И тут Иде становится обидно. Так обидно! Как будто она и правда хотела увидеть эту дурацкую птичку. А ей отказали. «Не положено», видите ли!

Ида с ужасом понимает, что еще немного, и она разревется. Как дура! Как самая глупая идиотская дура! Она закусывает губу, хмурится и исподлобья смотрит в камеру. А потом, дома, запершись в своей комнате, дает себе волю и с наслаждением ревет.

– Сделай же что-нибудь, – просит за стенкой мама.

Она тихо говорит, но стены такие тонкие, что все равно слышно.

– Я ничего не могу сделать, – отвечает папа. – Не сейчас. Пусть поплачет, если ей нужно. Это такой возраст, когда у человека весь мир болит. Разве не помнишь?

– Ну не знаю, – говорит мама. – У меня весь мир не болел. Только пара-тройка континентов. И еще остров Мадагаскар.

Они смеются там, за стенкой. И от этого Ида чувствует себя совсем одинокой. Им, видите ли, весело! А я, а я...

Но, если честно, ей уже самой надоело страдать и обижаться. Тем более там у них, наверное, торт. Он же остался. Или нет? Ида вытирает слезы и идет на кухню.

* * *

– Сейчас вылетит птичка, – говорит дядя Яша.

Хуичка, думает Ида, но вслух все-таки не говорит. Хотя очень хочется. Дядя Яша ни в чем не виноват, просто сейчас Ида зла на весь мир. У нее похмелье. Вчера до пяти утра день рождения праздновали. А сегодня Нина с самого утра начала трезвонить – дескать, давай иди фотографироваться, а потом – быстро сдавать документы, конец недели уже, сколько можно тянуть, кому, в конце концов, нужен загранпаспорт, тебе или мне?

Надо было отключить телефон, думает Ида. Отключить, и все. И все! Загранпаспорт. Загранхуяспорт! Лично мне сейчас вообще ничего не нужно, только воды и поспать, и еще воды, и опять поспать – до вечера. А потом поднять себя бережно и нежно и отвести в ванную. А еще лучше – отнести. Но отнести ее некому. Больше некому носить ее на руках, потому что... Нет, стоп. Вот об этом я сейчас думать не буду. Не бу-ду.

Вспышка света, щелчок затвора.

– Кар! – говорит Ида, взмахнув руками, как крыльями. Чем, спрашивается, не птичка. – Карrrr!

Дядя Яша укоризненно качает головой.

* * *

– Сейчас вылетит птичка, – говорит дядя Яша.

Ида улыбается. Надо же. Сколько лет прошло, а он совершенно не изменился. И по заведенному обычаю, вероломно сулит птичку маленькой девочке, которую нарядили, как куклу, в пышное-кружевное-белое, причесали, как выставочную собачку, и усадили на специальный высокий стул.

Ида стоит на пороге, прислонившись к дверному косяку. Шла мимо и зашла. Она сама не знает зачем. Просто так. Вдруг захотелось. Я вернулась в свой город, знакомый до слез. Хотя почему именно – «до слез»? Просто в свой город. Точка. В свой родной незнакомый, совершенно неузнаваемый город. Все вокруг изменилось, а Дядяшино ателье на улице Гележинкёле такое же, как было, даже вывеска осталась старая. Фантастика.

– Сейчас вылетит птичка, – говорит дядя Яша.

А вот возьмет и кааак вылетит, думает Ида. Вот смеху будет.

Она вдруг вспомнила, как сама сидела на этом стуле – маленькое неповоротливое чучелко в пышном кусачем платье. И ведь была птичка, вылетела, даже целых две, точно! Вот и сейчас – будет.

Щелчок, вспышка, и два волнистых попугайчика, голубой и желтый, вылетают, вернее, влетают в студию через открытую форточку. Покружив по комнате, они приближаются к камере и – Ида глазам своим не верит, но это так! – исчезают, растворяются в объективе. Маленькая принцесса звонко хохочет и хлопает в ладоши.

– Ты видел? Видел? – возбужденно спрашивает мужа принцессина мама, хрупкая и очень юная, до ушей закутанная в пятнистую шубку.

Ее муж молча смотрит на форточку. А дядя Яша – на Иду. Конечно, он ее узнал. Еще бы.

Проводив клиентов, он помогает Иде снять пальто. Ставит на электроплитку старый мельхиоровый кофейник. Жестом указывает на стул – дескать, садись. И только потом, дождавшись, пока согреется кофе, и разлив его – Иде в щербатую фарфоровую чашку, себе в эмалированную кружку, – спокойно говорит:

– Хорошо, что все получилось.

Улица Гервечю

(Gervesciu g.)

У царя Мидаса ослиная бездна

Сказку, вернее, адаптированный для детей миф про царя Мидаса ему прочитал дед, сам тогда еще не умел. Слушал, как завороченный и потом часто просил: «Давай еще раз почитаем про царя с ослиными ушами!» Однако поразили его не уши и даже не говорящий тростник, а сама идея царского брадобрея: вырыть яму и поговорить с ней.

Все время думал: с кем он тогда говорил? С ямой? Или с Землей, в смысле, со всей планетой? Но с планетой можно поговорить и без ямы, она же вообще везде. Значит, все-таки с ямой? Которую перед этим сам же и вырыл? Это поражало его воображение. Потом, много позже, вспоминая свое детское впечатление, понял, что ему просто не хватило словарного запаса сформулировать: брадобрей говорил с глубиной.

Неподалеку от дома строители вырыли огромную яму. Яма называлась «котлован» и была окружена высоким забором, в котором сразу же наделали кучу лазеек, благо строители куда-то подевались, так что гонять любопытных стало некому. Детям там гулять не разрешали, но где бы мы все были, если бы в детстве не ходили туда, куда нам не разрешали ходить. Конечно, бегали к котловану постоянно, обычно большой компанией, у них был дружный двор.

В одиночку он ходил смотреть на огромную яму-котлован всего дважды. В первый раз испугался, сам не зная чего, и почти сразу убежал. Ко второму визиту готовился заранее, долго решал, какую тайну расскажет этой глубокой, наверное, аж до самой середины Земли прорытой яме. И какой из нее потом

вырастет удивительный говорящий тростник. Или даже не тростник, а дерево? Например, сосна или дуб. Целая роща говорящих дубов. Поэтому следовало быть осторожным и чужие секреты, например, о том, как они с папой ходили играть в бильярд (папа играл, он смотрел, а потом ел шоколадное мороженое, такое же тайное как перестук белых шаров в восхитительном прокуренном полумраке) или про бабушкины вставные зубы, лежавшие в шкатулке с изображением золотых журавлей, не выдавать.

Но все по-настоящему интересные секреты были чужими, вот в чем беда!

В конце концов, придумал, как поступить: принес яме книжку, с картинками, не самую любимую, где была история про царя Мидаса, но почти. У автора было удивительное иностранное имя Джанни Родари, а в сказке рассказывалось, как игрушки из магазина решили стать новогодними подарками для детей бедняков и потом всю ночь с приключениями до них добирались. Расставаться с этой книжкой тоже было жалко, но мама много раз говорила, что дарить надо только то, что любишь сам.

Незаметно умкнуться из дома, а потом еще пронести через весь двор большую толстую книжку – это тоже было целое дело, но справился, обхитрил бдительную бабушку, спрятав «Приключения Голубой Стрелы» в пустую коробку из-под торта, которую заранее выпросил якобы для какой-то игры. Прокрался к огромной глубокой яме, поспешно, чтобы не передумать, швырнул в нее книжку, крикнул: «Это сказка про игрушки, специально тебе!» – и убежал в такой панике, словно за ним гнались все демоны ада. Хотя ни про демонов, ни про ад он тогда, конечно, не знал.

Книги дома хватились, хотя не сразу. Его спросили, не давал ли ее кому-нибудь из друзей, он отрицательно мотал головой. Говорил при этом чистую правду: «Леше не давал, Яну не давал, Марку не давал. И Илоне не давал тоже!» А про яму его никто не спрашивал. Просто в голову не пришло.

В конце концов родители от него отстали, книг в доме было много, своих и чужих, их все время кому-то давали и у кого-то одалживали почитать. Так что к регулярным пропажам давно привыкли.

Потом к яме-котловану внезапно вернулись строители. Они привели с собой машины-грузовики, машины-экскаваторы, машины-бетономешалки и огромный

подъемный кран, такой прекрасный, что о нем хотелось сочинять стихи. Кажется, даже и сочинил, теперь не вспомнить.

К следующему лету на месте ямы-котлована уже стоял высокий девятиэтажный дом, люди-новоселы каждый день привозили туда кровати, шкафы, огромные фикусы в кадках и даже пианино. А осенью на первом этаже нового дома открылся магазин «Детский мир». Очень большой, как музей, за один раз все даже не рассмотришь. Столько игрушек сразу он до сих пор никогда не видел, так растерялся, что ничего себе не попросил, чем безмерно удивил заранее приготовившихся к неизбежным тратам родителей.

Только вернувшись домой, вспомнил, как бросил в яму книжку про магазин игрушек. И содрогнулся от внезапного понимания: так вот откуда взялся «Детский мир»! «Содрогнулся» сказано не для красного словца, потому что действительно испугался до панической дрожи; мама заметила, решила, что простудился, стала мерить температуру. Температура, кстати, и правда была высокая. Целую неделю потом болел.

Очень хотел рассказать про магазин игрушек, не всем, но хотя бы деду, который пользовался его полным доверием. Но так и не решился. Откуда-то знал, что лучше молчать. И вообще забыть эту историю.

Забыл.

Вспомнил через несколько лет, почти случайно, когда они с Шуркой лежали в траве на краю глубокого оврага и обсуждали, где лучше попробовать в него спуститься – прямо здесь или поискать менее крутой склон.

Овраг был такой же глубокий, как котлован, или еще глубже. А Шурка был лучший друг, которому можно рассказать вообще все на свете, хотя познакомились совсем недавно, в начале каникул, в курортном поселке, куда их обоих привезли. Вот тогда и вспомнил про брошенную в яму книжку и выросший на ее месте дом с магазином «Детский мир». Не говорящий тростник, конечно,

но в каком-то смысле даже лучше говорящего тростника.

Шурка был старше почти на полтора года, но никогда над ним не смеялся. И сейчас выслушал не перебивая. А потом предложил: «Давай расскажем что-нибудь этому оврагу. Я знаю один хороший анекдот».

Анекдоты у Шурки всегда были странные. Не такие, как рассказывают в школе, но и не такие, как у взрослых. Всегда смеялся с ним за компанию, считая это данью дружбе, но никогда толком не понимал, почему «Летели два крокодила, один зеленый, другой в Африку» должно быть смешно.

Но какая разница.

Они, наверное, целый час лежали на краю оврага, выкрикивая вниз анекдоты. Сам вспомнил всего три, почему-то ужасно неприличных, так что даже оврагу можно рассказать только шепотом, зато Шурка не умолкал. Некоторые его анекдоты, кстати, оказались вполне ничего, особенно про привидений, который бродят по замку, и одно пугается каждого скрипа, а второе спрашивает: «Неужели ты веришь во все эти глупые сказки про живых?» И еще про два поезда, которые выехали навстречу друг другу по однопутной дороге, но так и не встретились. Вопрос: «Почему?» – ответ: «Не судьба».

В общем, хороший был день.

Потом каникулы кончились, оба уехали в город, вернее, в разные города: Шурка жил в Риге. Были уверены, что еще сто раз увидятся, самое позднее, следующим летом, но не вышло.

Следующим летом умер дед, и родителям стало не до поездок. Шурка обещал приехать на осенние каникулы, говорил, его одного везде отпускают; наверное, врал, во всяком случае, приехать не смог. А потом по Шуркиному телефону стали отвечать незнакомые люди: «Они переехали». А потом – ну, всем известно, что становится с друзьями детства, когда наступает «потом». Потом мы превращаемся в крокодилов, из которых один непременно зеленый, а второй всегда летит в Африку. В общем, не судьба.

Но Шуркина идея рассказывать оврагу анекдоты надолго утвердила его в представлении, что в яму не обязательно прятать страшные чужие секреты. С ямой можно просто поговорить, как с другом, если уж так получилось, что никого из друзей рядом нет. Они тогда как раз переехали из квартиры в старый дедовский дом на улице Гервечю, ветхий, зато с садом и огородом, так что ям вокруг было полно. А друзья детства остались на другом конце города. Сперва ездил к ним в выходные на троллейбусе, с двумя пересадками, но постепенно стал чувствовать себя чужим. Когда приезжаешь к друзьям раз в две, а то и три недели, волей-неволей обнаруживаешь, что теперь все самое важное происходит у них без тебя. Слушать их было интересно, но, по большому счету, бесполезно: жизнь надо не пересказывать, а жить.

А поговорить можно и с заброшенным пересохшим колодцем в дальнем углу сада. За пару месяцев одиночества он успел пересказать колодцу всю свою пока еще короткую, но уже не слишком безмятежную жизнь.

Впрочем, вскоре у него появились друзья на новом месте. Он всегда легко сходилась с людьми. С колодцем, впрочем, продолжал здороваться по утрам, рассказывал ему свои новости, а по праздникам неизменно выливал туда немного вина, утащенного с родительского стола. Почему-то решил, что колодец должен радоваться таким подношениям. Но проверить, так ли оно на самом деле, конечно, было нельзя.

В юности, не столько начитавшись Ницше, который в больших объемах был ему невыносим, а просто нахватавшись цитат, очень полюбил фразу про бездну. Часто повторял ее, порой совершенно ни к месту, просто ради удовольствия лишний раз произнести: «Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя». И всякий раз, цитируя Ницше, самодовольно думал: «Вот чем я, оказывается, занимался в детстве! Всматривался в бездну. Ну и дела».

Вслух, конечно, ни о чем таком не говорил, потому что совсем уж конченным дураком даже в юности не был. Всегда безошибочно если не знал, то чувствовал, о чем можно рассказать только заброшенному колодцу, а с людьми лучше промолчать.

С Агнешкой вышла невероятная история, кому рассказать, не поверят. Да и черт с ними, пусть не верят, главное, что история была.

Сперва он сфотографировал на улице женщину – совершенно случайно, даже не заметив, потому что снимал свадьбу друзей, а она просто шла мимо и попала в кадр. Вроде бы ничего особенного, совсем не красавица, но немного похожа на друга детства Шурку и одновременно на одну девчонку из старого двора, с которой играл еще до школы. Это двойное сходство очень располагало, внушало беспочвенную, в сущности, уверенность, что незнакомка ему почти родня, с ней можно обсуждать самые важные вещи на свете и вообще делать, что взбредет в голову, никем не притворяясь, потому что все хорошо и так.

Ну и ноги, конечно. Там на фото были такие ноги, хоть стой, хоть падай, просто ах.

Вырезал ее из общего снимка, увеличил, распечатал и, смешно сказать, всюду носил с собой в смутной надежде, что фото поможет завязать знакомство, если она снова попадется навстречу. Но не попалась. Вот вроде бы совсем небольшой город, но для повторной случайной счастливой встречи он все-таки явно великоват.

Примерно полгода спустя, весной, поехал в гости к поселившемуся в Черногорию другу. Друг тогда как раз купил по случаю старенький джип, привел в порядок, нарек Ланселотом и с упоением рассекал на нем по горным дорогам. И гостей, конечно, возил. Каждый гость для таких маньяков – просто желанный повод лишний раз прокатиться по горным дорогам, иногда таким узким, что непривычные пассажиры жмурятся, лишь бы не видеть пропасть буквально в метре от колеса.

Не жмурился, но на одном из участков так называемой автомобильной трассы, больше похожей на козью тропу все-таки изрядно перепугался; впрочем, лицо сохранил. Но когда остановились перекусить в крошечной харчевне на обочине дороги – «на обочине» в данном случае означало натурально над бездной – где было всего два дежурных блюда, жаркое из баранины и божественная рыбная похлебка, зато больше десятка разных сортов домашней ракии, выпил этой самой ракии несколько больше, чем следовало, иначе как объяснить, что сидел потом один на краю пропасти, куда отошел якобы покурить, говорил, глядя вниз: «У царя Мидаса ослиные уши, а у меня лучшая в мире девчонка, правда она потерялась, зато фотка с собой, хочешь, покажу?» Ничего удивительного, что

фотография в итоге улетела из хмельных непослушных рук куда-то на дно восхитительной бездны, где среди темной зелени серебрилась узкая нитка горной реки, счастье еще, что сам не свалился следом. Друг как раз закончил болтать с хозяином, заставил отойти подальше от края: «Эй, ты чего?»

Возвращаться на побережье было легко и приятно, по крайней мере, он больше не нервничал на поворотах, великое дело фруктовая водка, голова от нее с непривычки превращается в малый филиал ада, а головная боль от страха помогает даже лучше, чем слишком быстро выветрившийся на ветру хмель. Пока ехали, думал, что теперь на дне этой пропасти вырастет тростник с лицом незнакомки. Или лучше со стеблями в форме ее изумительных ног.

А вернувшись из отпуска, встретил на улице Агнешку. Бросился к ней с криком: «Барышня, я буквально два дня назад выбросил вашу фотографию в пропасть!» Добежав, понял, что на самом деле не она. Очень похожа, но явно выше ростом и нос курносый, и волосы длинные, не могли за каких-то несчастных полгода так отрасти. Хотел было извиниться, но в этот момент Агнешка ему улыбнулась, и он пропал.

Ну, то есть не пропал, а как раз наоборот.

Вечером дома на всякий случай полез в архивы, проверил и убедился: на той уличной фотографии была другая женщина. Но какая разница. Пусть на фотографии остается другая, а в жизни будет Агнешка. Она – именно та.

Вот Агнешке он все рассказал. Вообще все, начиная с царя Мидаса и «Детского мира». И заканчивая историей их знакомства, даже про путаницу с фотографией. И заодно изложил свою любимую бредовую гипотезу, что пропасть расстаралась, породила для него Агнешку, как котлован магазин с игрушками, только гораздо быстрее. Агнешке эта версия очень понравилась. Поэтому если она начинала скандалить, он обязательно говорил: «Ну чего еще от тебя ждать, ты у нас порождение бездны», – и оба принимались хохотать, грубо нарушая драматургию конфликта и сводя тем самым его на нет. За без малого десять лет так ни разу толком и не доругались. Но не то чтобы это мешало счастливо жить.

Сидя в кабине канатной дороги, раз сто наверное спросил себя: «Какого черта я поперся на этот дурацкий Монблан?» Ответ, впрочем, был известен заранее: так получилось. Не то чтобы всю жизнь только об этом мечтал, но, конечно, хотел попасть на Монблан, и вдруг свободные деньги образовались одновременно с серьезной скидкой на тур. Агнешка поехать никак не могла, но она еще с весны гнала его в отпуск, говорила: «На тебя уже без слез смотреть нельзя», – и была права, по крайней мере, отчасти. Действительно очень устал.

В общем, жена выперла его из дома практически силой. Навстречу мечте – не столько о самом Монблане, сколько о двенадцатичасовом сне без перерыва, раклете и белом вине. Эти мечты, надо отдать им должное, сбылись в полном объеме; отпуск можно было бы считать удавшимся, если бы нелегкая не занесла его на чертову канатную дорогу в тот самый день, когда эта зараза решила сломаться. Ну хоть не рухнула, просто остановилась. Не на полчаса, не до вечера, даже не до ночи – совсем.

Сперва вообще не понял, что творится нечто из ряда вон выходящее. На канатной дороге он катался всего третий раз в жизни и просто не знал, как положено. Может быть, это обычное дело – висеть над пропастью целый час?

Потом, конечно, начал беспокоиться. Как-то слишком уж долго стоим. И одновременно грешным делом радовался, что оказался в кабине один. По крайней мере, нет ни орущих младенцев, ни рыдающих женщин, ни запаниковавших мужчин – эти, честно говоря, хуже всех. Но с одним-единственным паникующим мужчиной в своем лице справиться все-таки можно. Благо навык есть.

Только когда пассажиров канатной дороги начали эвакуировать вертолетами, понял, как влип. Как они все тут дружно влипли с этим дурацким Монбланом. С другой стороны, если начали летать вертолеты, все будет в порядке. Сейчас всех отсюда спасут.

Всех, не всех, но многих действительно успели эвакуировать до темноты. Однако до него так и не добрались. В сумерках начал сгущаться туман, и вертолеты летать перестали. Это было понятно, логично и правильно. И одновременно совершенно абсурдно, как Шуркины анекдоты про крокодилов, когда один зеленый, другой в Африку, а ты висишь между небом и землей на высоте три тысячи с гаком метров. Хотя никакой не крокодил.

У него было одеяло и даже еда, доставленные раньше все теми же спасательными вертолетами, прихваченные с собой сигареты и двухсотграммовая фляжка с коньяком, опустошенная уже более чем наполовину. Была даже связь, время от времени в кабинке раздавался механический голос и на французском, которого он не знал, о чем-то вдохновенно вещал. Выходило красиво и поучительно. Потом сообщение дублировали по-английски, гораздо короче и более-менее понятно. Из сообщений следовало, что придется ждать, пока механики разберутся с тросами, а если не разберутся, то возвращения вертолетов. То есть до утра. Потом механический голос умолкал. Это они зря, конечно. С людьми, висящими над пропастью, надо говорить. Все равно, о чем.

По-настоящему страшно ему тогда еще не было, скорее просто досадно, что так по-идиотски влип. И неизбежные в таких случаях мысли: «А ведь можно было проспять, или просто поленился, или хотя бы пожадничать денег на билет. И шел бы сейчас по прекрасной твердой земле в направлении какого-нибудь кабака, как же было бы хорошо!»

Под эти докучливые сожаления он даже задремать умудрился, и вот это совершенно напрасно, потому что проснулся от самого настоящего утробного, звериного, не подчиняющегося разуму ужаса. Видимо, пока человеческий мозг мирно спал, из темных глубин подсознания выползла какая-то трусливая рептилия, настолько тупая, что только сейчас поняла, что случилось, и принялась орать.

Ну, в общем, счастье, что в кабине больше никого не было. Особенно отсутствующим спутникам повезло.

Когда понял, что так и с ума сойти недолго, по крайней мере, первый шаг в этом направлении уже сделан, и вот-вот последует второй, решил, что веселое безумие лучше унылого. И сказал, прижавшись лбом к ледяному стеклу зависшей над бездной кабины: «У царя Мидаса ослиные уши». Благо яма под ним сейчас была – о-го-го! Царскому цирюльнику за сто лет такую не вырыть. И вообще никому. Три тысячи метров, не кот чихнул, настоящая бездна, как Ницше прописал. У царя Мидаса ослиная бездна, а у бездны воистину царские уши, к одному из них можно приблизиться и говорить, неважно что, лишь бы не молчать.

Всю ночь рассказывал развернувшейся под ним бездне – то анекдоты, то забавные истории из их с Агнешкой жизни, то просто сплетни про знакомых, выбирая самые нелепые, чтобы бездне было весело. Потому что смех у бездны оказался совсем не страшный, наоборот, приятный, негромкий, слегка хриплый, как у покойного деда и одновременно заразительный, как у друга Шурки, рядом с которым легко было смеяться даже над летящими в Африку крокодилами. Хотя, честно говоря, до сих пор так и не понял, в чем там смысл. Почему это смешно?

Поэтому придерживал этот дурацкий Шуркин анекдот до последнего. Рассказал его уже на рассвете, когда силы окончательно иссякли, голова опустела, мысли разбежались в разные стороны, и стало не о чем говорить. Однако бездна, вопреки ожиданиям, хохотала над крокодилами гораздо дольше, чем над всеми остальными историями. Может быть, полчаса.

А когда бездна наконец успокоилась, остановилась перевести дух, он понял, что его временная тюрьма, то есть кабина канатной дороги движется. Но не падает, а неторопливо ползет. Только теперь вспомнил, что какое-то время назад механический голос из динамика что-то рассказывал и звучал как-то неуместно бодро. Видимо, докладывал о победе человеческого ума над чудесами техники. Но им с бездной тогда было не до того.

Площадь Гето Ауку

(Geto Auku a.)

Тарантелла

– Направо пойдём, коня потеряем, – сказала Надя.

– Прости, что?

– Это в сказках так. В русских народных. Куда ни сунься, рано или поздно обязательно придёшь на перекресток, в точности как этот, только без

светофора, на перекрестке камень, на камне надпись: «Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, себя потеряешь, прямо пойдешь, и себя, и коня». Все такое вкусное, невозможно выбрать... А в английских сказках разве такого нет?

– Понятия не имею, – пожал плечами Питер. – Мне мама читала про муми-троллей. А бабушка фантастику про космос. А отец вообще ничего не читал, только песни пел. И я с ним. Хорошие были песни.

– Пошли прямо, – предложил Витторио. – Если терять, так все сразу.

– Отличное предложение, – кивнула Надя. – Себя, коня, всех к черту. Чего мелочиться, зачем тянуть.

– Почему обязательно надо что-то терять? – вздохнул Питер. – Я вас не понимаю. Хотя вы говорите по-английски.

– Потому и не понимаешь, что говорим по-английски, – усмехнулся Витторио. – Молчим-то при этом каждый на своем. Смысл словам придает стоящее за ними молчание.

– Это ты зря, – сказала ему Надя. – По большому счету, мы всегда молчим об одном и том же. А по малому просто треплемся, нечего тут понимать.

– Я не понимаю, – повторил Питер. – Но если для вас это важно, я готов потерять коня. Прямо сейчас.

Отцепил от пальто один из доброй дюжины украшавших его значков в виде разноцветной лошади с сердечками вместо глаз и решительно швырнул куда-то в темноту. Звука удара не последовало. Наверное, значок упал на цветочную клумбу. Или под дерево. Или на газон, в мягкую от моросящего дождя, сивую от недавних морозов траву.

Его спутники удивленно переглянулись. Во дает чувак.

Надя пришла в себя первой.

– Теперь мы, конечно, пойдём направо, – решила она. – И на всех перекрестках будем сворачивать только направо, в твою честь, великодушный сэр Питер. Исключительно в твою честь.

– А когда надоест сворачивать направо, остановимся и...

– Эй, до полуночи ещё почти три часа! Рано пока начинать.

– Остановимся и чего-нибудь выпьем, – завершил Витторио. – Чтобы согреться. Не знаю, как вы, а я уже замерз.

* * *

Вечером тридцать первого декабря плохо было все, кроме погоды. Погода удалась на славу, по крайней мере, для новогодней ночи. Плюс пять и теплый, сырой, почти апрельский ветер. И мелкий морозящий дождь. И низкое небо, удивительно светлое, сизое от туч.

Никто не любит такую погоду, а Бенасу она нравилась. Поэтому не стал оставаться дома, где собирался провести эту чертову новогоднюю ночь, заперев двери, опустив ставни, заткнув уши наушниками, погасив свет, отключив телефон, чтобы не слышать, как он всю ночь не звонит. Чтобы в минуту слабости, которых в сутках порой даже больше чем просто минут, иметь возможность думать: «Мне, конечно, звонили, чтобы поздравить, дочка, племянницы, Гитис, кто-нибудь с бывшей работы, квартиранты, редактор Нийоле и, может быть, Катя, просто я сам не хотел ни с кем говорить».

Самообман, конечно, беспомощный и неуклюжий, но бывает такая правда, лучше которой даже самая неумелая ложь.

«Пока я жив, я лжив, – говорил себе Бенас, спускаясь по лестнице. И с удовольствием повторял: – Пока я жив, я лжив».

Эта фраза почему-то его сместила. Выходила похожей на считалку. И даже ощущать себя живым было не так противно, как обычно.

Теплый апрельский ветер тоже был ложью, спасительной, как отключенный телефон. Зато студеный декабрьский дождь подозрительно походил на правду. Как и лужа у подъезда, в которую сразу же наступил и насквозь промочил левую ногу. Правая осталась сухой, поэтому возвращаться домой переобуваться Бенас поленился.

* * *

– Горячего вина, – сказала Надя. – Только горячего вина, по кружке на рыло. И больше ничего. Нам сегодня еще играть.

Бармен говорил по-русски гораздо лучше, чем по-английски, поэтому Надя взяла управление на себя. С огромным, надо сказать, удовольствием. Сто лет ни с кем по-русски не говорила, только с мамой по скайпу, но с мамой – это не то. В смысле не вдохновенная беседа, а обычная житейская болтовня. Настоящие вдохновенные беседы обычно выходят только с незнакомцами, которых видишь в первый и последний раз. И еще с близкими друзьями. Но не со всеми. С Ником вот иногда получалось. По-английски, но все равно хорошо. Да где теперь Ник.

– Играть? – удивился бармен.

– Ну да, – кивнула Надя. – Мы музыканты!

И быстренько перевела сказанное для ребят. Краткий конспект. Чтобы не чувствовали себя не у дел.

– Вас на празднике играть пригласили? – спросил бармен.

– Пригласили играть на празднике, – задумчиво повторила Надя. – Да, можно сказать и так.

* * *

В такие ночи главное – не оставаться одной. Не сидеть дома, будет только хуже. Обычно Агата шла в какой-нибудь бар, выбирала подальше от дома, потому что дорога туда и обратно целительна сама по себе. От алкоголя тоже только

хуже, – это она знала точно, зато с одним бокалом чего угодно можно сидеть до самого закрытия, время от времени выскакивая на улицу покурить. Если очень повезет, кто-нибудь выйдет следом, попросит сигарету или зажигалку, а это уже почти настоящий разговор. В такие мгновения разогретая чужими словами и взглядами Агата почти верила, что пришла сюда не одна, а с большой веселой компанией. Друзья остались сидеть внутри, потому что не курят, а я вышла, но скоро вернусь, – говорила она себе, то есть, не себе, конечно, себя не обмануть, а сгустку тьмы, поселившемуся в ее голове, где-то справа, ближе к затылку.

Агата почти привыкла жить с этой тьмой, но случались ночи, такие, как сегодня, когда она явственно чувствовала, что тьма растет. Занимает в голове все больше места. Так скоро ничего не останется, кроме нее. Нет уж, – думала Агата, – так мы не договаривались! Хотя они вообще никак не договаривались, кто же добровольно согласится впустить в себя густую черную липкую тьму, которая хуже просто тоски, страшнее просто страха, которая – сам ужас небытия, ледяной и такой спокойный, что захочешь – не закричишь.

Чем бы ни была эта тьма, но когда Агата курила у входа в бар и представляла себе, что за дверью ее ждет веселая компания старых друзей – в такие минуты она почти вспоминала их лица и, конечно, знала имена: Йонас и его жена Маргарита; старик фотограф Кумински, друг покойного Йонасова отца, доставшийся всей их компании как бы по наследству; Алла, Маргаритина двоюродная сестра; заика Маркус, влюбленный в Агату и Аллу, слишком нерешительный, чтобы выбрать одну из них, но им и не надо, пусть неуклюже ухаживает за обеими, а они будут добродушно посмеиваться над своим кавалером, не нужно ничего менять, нет-нет. Так вот, когда Агата торопливо курила у входа, спеша вернуться к своим вымышленным друзьям, тьмы в ее голове становилось явственно меньше. Не настолько, чтобы надеяться, что тьма может уйти навсегда, но передышка была драгоценной. Ради таких передышек имело смысл чувствовать себя полной дурой, воображая Йонаса, Маргариту и всех остальных.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Речь об известном проекте Вильнюсской мэрии: на улицах Вильнюса, названных в честь других стран, народов и городов – Islandijos (Исландской), Rusu (Русской), Vokeciu (Немецкой), Zidu (Еврейской), Totoriu (Татарской), Varšuvos (Варшавской) и др. рядом с обычными табличками на литовском вывешиваются дополнительные с названиями на соответствующих языках.

2

Винцас Кудирка – литовский композитор, врач, прозаик, критик, публицист, переводчик, поэт, автор литовского государственного гимна. Памятник ему установлен на площади, названной в его честь.

3

Дело, скорее всего, происходит 28 января, в так называемый Павлов день. День получил свое название в честь церковного праздника – дня памяти преподобного Павла Фивейского.

Однако в народе этот день имел еще одно название – День колдунов. В старину люди верили, что именно в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В Павлов день старики советовали остерегаться порчи и сглаза, а также свести к минимуму контакты с посторонними людьми.

Купить: <https://tellnovel.com/maks-fray/skazki-starogo-vil-nyusa-vi>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)